

Кровь страсти - какой ты группы?

Избранное

Виорэль Ломов

Виорэль Ломов

Кровь страсти – какой ты группы?

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Ломов В. М.

Кровь страсти – какой ты группы? / В. М. Ломов — «ЛитРес: Самиздат», 2018

В сборнике представлены отрывки из романов и повестей, рассказы, очерки и эссе, написанные в 1970—2017 гг. Реализм и фантасмагория, печальное и смешное, былое и настоящее органично переплетаются в произведениях, создавая особый, ни на что не похожий мир — тот самый, в котором мы все живем.

Содержание

Волшебная сила искусства, или Метаморфозы	5
Поезд	18
Красота	23
Лучшая подружка	26
А где-то там, за горизонтом, едет машина с сыном	30
Твори, Бог, волю свою!	35
Галера шла вдоль берега	39
Это Родина моя	46
Защити и отчебучивай	49
Мир, который проявил Свифт	55
1. Автор единственного романа	56
2. Джонатан Свифт (1667—1745)	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Волшебная сила искусства, или Метаморфозы

С диким воем бешено ворвалась в обледенелый Воложилин февральская вьюга. Березки, как индийские танцовщицы, змеились в бело-синей слоистой мгле, а тополя и клены торопливо кланялись вьюге в пояс, да так, что трещали на них кафтаны. С утра кипел белый снег. Холодный пар поднимался от кипящих сугробов, и белые змеи клубились и гоняли друг друга. Тридцать два градуса по Цельсию плюс северо-восточный ветер пятнадцать метров в секунду.

В такую вот погоду Порфирий Иванов уходил на целый месяц в лес, без еды и одежды, с одной только верой во Всевышнего, в Природу и в себя, а через месяц возвращался, окрепший и просветленный. Администрация метрополитена, не разделявшая подобный образ жизни, в своих «Правилах...» запретила «проход на станцию и нахождение на территории метрополитена без обуви» (п. 2.11.6). Впрочем, она – администрация – может быть, имела что-то и против босоногого Сократа.

Именно в этот день, 9 февраля, в Айпинге появился Невидимка.

Этот же ледяной ветер завывал и на Скамандрийском черно-белом лугу, думал Мурлов, эти же белые змеи пылили по гудящей промерзшей земле, со свистом пронзая корабли, шатры, загородки. В рвущихся тучах дергалась эта же ледяная луна, а море засасывало желтовато-красное пятно дня. Никогда еще, ни до, ни после этого проклятого года, февраль не был таким лютым и злобным. Вокруг костра сидели голодные люди и ждали, когда поджарится собака, которую посчастливилось отловить накануне. Она, бедняга, сама забрела в лагерь в поисках еды. Все правильно: пожирающий буден пожран. Кто-то сказал, что лучники едят человечину. Все ближе угнулись к стелющемуся огню и неприязненно поглядели на подошедшего караульного. Тот потоптался, помахал крест-накрест руками и, сгорбившись, ушел в воющую темноту, которая уже завладела всем побережьем. Обжигаясь, разодрали, разрезали собаку на куски и быстро съели, разгрызая кости в пыль.

Мурлов передернулся. На обледеневшей земле темнело пятно, большое, с неровными краями. От него тянулась цепочка пятен до целой лужи замерзшей крови. Поземка то заносила снегом пятна и лужу – последнюю тропку и последнее пристанище чьей-то жизни – то срывала с них снег, и они то краснели, то темнели – до тошноты в горле. Убийца и убитый, быть может, до этой встречи ничего не знали друг о друге, а теперь они навеки соединены кровными узами. Хотя как знать, что там было в их предшествующих жизнях и соединяло ли их еще что-нибудь?

С трудом преодолевая сопротивление ветра, Мурлов минут пятнадцать пробивался к дому. Он уже не мог отчетливо вспомнить, где видел эти пятна крови: в своем воображении или наяву. Что ужаснее? Он вспотел, порядком устал и обморозил нос и щеки. Праздники унеслись, как поземка, потянулась работа и не было ей ни конца, ни, казалось, смысла. Если бы не Наташа... Сливинский интересовался, Хенкин наседали, термопары перегорали, программа не шла, экспериментальные точки не ложились на прямую, лаборанты с техником после обеда, озираясь, опрокидывали в глотки мензурки со спиртом, дающим перхоту горлу и огонь телу, и тут же закусывали ледяной водой из крана. Формула не конструировалась, выводы не рождались. «Во всяком случае, у меня, – думал Мурлов. – Сливинский, наверное, давно уже сделал все выводы». И сейчас, так ничего и не добившись очередной серией экспериментов, возвращался Мурлов в пустоту своей комнаты с пустой башкой, пустым желудком и ощущением пустоты в душе. Если бы не Наташа – зачем жить? Ахилл, ответь. Или тебя не интересуют женщины? Неужели тебя не заинтересовала бы Наташа? Конечно же, нет. Разве может интересоваться то, что есть, чего много и что давно надоело. Ахилла не интересовало даже, сбудется ли предсказание о его гибели под Троей или нет. Он знал, что сбудется. И знал, почему сбудется. Потому что он заглянул дальше, чем положено смертному. Смертный не ведает своего последнего часа. Ну, а если разведать, то и получи. Побоялся Зевс, побоялся сделать его своим сыном!

В голове Мурлова проносились обрывки несвязных мыслей, будто их гнал февральский колючий ветер, хотелось есть и спать, вернее, уже ничего не хотелось. Вдруг вспомнилось прошлогоднее весеннее мартовское небо, да-да, вот тут, именно с этой точки он любовался предзакатным голубым небосводом, на котором облака сверху были окрашены розовым цветом, а ниже к горизонту были синие, а ниже облаков и неба замерли бежевые, зеленые и белые тополя и березы, изящно и небрежно переплетая в прозрачном воздухе свои черные ветви и веточки, и все это смотрелось как старинная лаковая миниатюра, покрытая сеточкой трещин-паутинок, и было спокойно и радостно на душе. Природа создает столько картин в масле, акварели, в черной туши, размытой водой, – успевай только смотреть.

Какие у Наташи мягкие теплые руки... Неужели настанет день, и он будет вспоминать эти мягкие теплые руки, как единственную земную благодать? Просто удивительно, что было общего у нее с Каргой? Общий теперь я, решил Мурлов.

Он нырнул под арку и утонул в дымящемся сугробе. Чертыхаясь, продрался во двор. Оглянулся – арка вдруг показалась странно узкой, как дуга над лошадью.

А как раз над аркой, в огромной, почти в сто квадратов полезной площади (полезной с точки зрения взимания коммунальных платежей со всей площади и совершенно бесполезной для каждого жильца в отдельности) коммунальной квартире пенсионерка баба Зина согласно очередности принимала ванну. И до злобности природы не было ей никакого дела, и было ей тепло и тихо. Бабе Зине было бы совсем хорошо, если бы Архип Кузьмич не был ее зятем, и не просто зятем, а зятем-примаком. Был бы Архип Кузьмич просто соседом – как было бы хорошо! Когда сосед дурак – невольно чувствуешь себя умной, когда же дурак зять – невольно и себя чувствуешь душой.

Мало того, что распрекрасный ее зять был чудо природы и жертва родительской поспешности, был он еще и дважды жертвой ванны. В первый раз он заработал в ванне тик правой щеки, а в другой – стал зайкой, и теперь, когда хочет что-нибудь сказать, зевает, как карась. Угораздило же Люську выскочить за него! Мужского-то – мослы да шерстка на куриной грудке. Ни кола, ни двора, водку и ту пьет, как микстуру. Когда зятек прикладывался к рюмке, у бабы Зины начинали ныть зубы. Бабу Зину так и подмывало спросить у дочери о мужских достоинствах зятя, но природная скромность пока сдерживала ее любопытство.

Невероятно, но Архип Кузьмич сразу же после армии был влюблен в обрусевшую испанку Мару. Как-то раз принимал он у Мары ванну, и только намылил обильно голову, как ворвалась эта Мара к нему, сиганула с хохотом в ванну и ну визжать и щекотать его. С перепугу тогда Архип Кузьмич и задергал щекой. Зайкой же зять стал аккурат в этой самой коммунальной ванне. Тер он себе как-то мочалкой поясницу, и вдруг стукнуло ему в голову, что дверь в ванную за его спиной распахнута настежь, и Мария Ивановна, Федра Агафоновна и любимая теща Зинаида Ильинична разглядывают его, как кролика на прилавке. Обмер он, похолодел, оглянулся дико, уставился на закрытую дверь, обмяк, сполз в воду да так час и пролежал в ней без движения. С тех пор слова и выходят из него с натугой. Крайне слабой стала перистальтика речи.

Баба же Зина обожала ванну, так как в ней можно было не только помыться и расслабиться, но и скрыться от усатой физиономии Марии Ивановны Годуновой и прокурорского лика Федры Агафоновны Горевой, скрыться от собственного зятя, от рыжего годуновского кота Хрыча, которого постоянно истязает сын Горевых – Гришка, скрыться от чужих глаз и ушей, от кухни и разговоров, от всех дел и забот, от запаха коммунальной квартиры и вообще от всего мира. Как уютно греться в ласковом кубике тепла и хочется петь, как в детстве, может, оттого, что становишься чище.

Баба Зина замурлыкала мотивчик, смолкла, прислушалась, снова замурлыкала и попыталась представить себе, ругаются ли Мария Ивановна с Федрой Агафоновной или обсуждают очередные вопросы культуры края.

Известно, что о состоянии культуры страны вполне можно судить по ее состоянию в общежитиях и коммунальных квартирах. Вряд ли найдется другое такое место, включая министерство культуры, где столько и так обстоятельно обсуждали бы насущные проблемы культуры. Представьте только кухню, полную еды, в прихожей обувь, куртки, шапки, белье на веревках...

Мария Ивановна была огромна, простодушна и усата. От ее энергичных движений на кухне всегда тесно. Все, что она готовила, ужасало своими размерами. Можно было подумать, что она откармливает роту на постое, тогда как жили они вдвоем с мужем. Годуновы любили, грешным делом, покушать. Егор Борисович имел отменный аппетит, а желудок у него был, как паровозная топка. Он не сомневался: чем больше он съест, тем больше совершит пользы для государства, так как дело, по его мысли, есть прямое следствие переработки съеденной пищи.

Годуновы занимали угловую, самую большую комнату в пятикомнатной квартире, с двумя окнами на оба переулка. Две комнаты занимала баба Зина с семейством, одну – Горевы, и самую маленькую – с видом во двор – Мурлов. До Мурлова в ней жила сотрудница института с сыном, потом она вышла замуж за военного и уехала, а комнату выделили Мурлову, как перспективному молодому специалисту. Мурлов долго еще находил по углам шпильки, и каждая такая находка настраивала его на минорный лад.

Егор Борисович Годунов часто заходил на кухню проведать жену и имел привычку после свистящего приветствия: «Здрас-с-сть-е...», равно относящегося и к пятикласснику Гришке, и к пенсионерке бабе Зине, декламировать один и тот же монолог:

– Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, – те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы... увы! – восклицал Годунов, вздыхал и пробовал кушанье, и на лице его отражалась уверенность, что те, кто будет жить через сто и двести лет после нас, так вкусно кушать не будут.

Когда он впервые произнес эти слова, он прослезил всех присутствующих дам, может, потому, что голос у него был сильно мужской, как у артиста Василия Ивановича Качалова. Когда в комнату въехал Мурлов, оказалось, что это был монолог Астрова из пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня».

Квартира жила долгим ожиданием счастливых перемен, возможно, поэтому нервозность достигла апогея. Летом всех наконец-то должны были расселить в новую девятиэтажку, воздвигаемую неподалеку, и коммунальная квартира стала походить на аэропорт в нелетную погоду. Сегодня обстановка накалилась сразу же, как все пришли с работы. Мария Ивановна похвасталась новой французской комбинацией из нежно-розового нейлона, которую Егор Борисович привез ей в подарок из Москвы. «Надо же, и во Франции, выходит, есть женщины с такими фигурами», – подумала Федра Агафоновна. Поражали кружева: снизу на четверть, и на груди восемь розочек крест-накрест, как две пулеметные ленты. Плечики же были явно для французенок, но ничего, сойдут. «Чтоб не затаскать, не застирать, буду надевать ее исключительно на прием к врачу», – решила Мария Ивановна.

Федра Агафоновна принесла альбом с репродукциями, который подарил ей муж Ипполит Сергеевич. Все были восхищены и поначалу не находили слов, а только листали и ахали, листали и вздыхали: «Ах, какая прелесть! Какая красота!» Шло много рыбы, мяса, ягод, цветов, фруктов, овощей, по поводу чего Мария Ивановна, вздохнув, заметила, что раньше хорошо кушали. После плотной и разнообразной еды пошли не менее аппетитные, и тоже не страдающие отсутствием аппетита, розовые мясистые тети и золотистые поджаристые дяди, в общем-то вполне подходящие друг другу, но почему-то все голые, и некоторые голые не только врозь, а и вместе: голая женщина и тут же голый мужчина; а то вдруг совсем непонятно: он – при латах, а она – без всего. Что и говорить, по натуре было видно, что жизнь тогда была сытая. Дошли до Венеры. Через два-три листика – еще до одной. Стали сличать обеих. Обе

были довольно полненькие, белые и лежали в готовности № 1, одна, правда, передом, а другая – задом, и гляделась в зеркальце. Бабе Зине и Марии Ивановне понравилась Венера задом – и поаккуратнее, не такой откровенно бабий филей, и попрстойнее; а Федре Агафоновне нравилась больше Венера передом – может потому, что сама она была несколько тоща по женской части. Венера задом ей нравилась меньше, но она отдала должное мастерству живописца. Потом шли зеленые и синие пейзажи, точки и мазки, разноцветные пятна, а кончилось все какими-то синюшными физиономиями и костлявыми телами, сложенными чуть ли не из детских кубиков.

– Ну, это уже безобразие какое-то! – сказала Мария Ивановна.

– Не скажите, не скажите, – загадочно произнесла Федра Агафоновна, – во всем этом есть какая-то непостижимая тайна, неизреченное великолепие...

Баба Зина вдруг сказала:

– А мне из всего этого бабья и всяких лужаек больше всего подсолнух понравился, там, в конце. Одинокий такой, красивый. Как это похоже на правду. Вот на полустанке поезд остановится, вдали лес синее, тут травка, солнышко, а он стоит один, ничего не ждет, голову только за солнцем поворачивает, и клюют, клюют его воробьи, и всем тепло и хорошо...

Федра Агафоновна снисходительно улыбнулась:

– В живописи, Зинаида Ильинична, совершенно другие задачи. Это образ, а не подсолнух на полустанке. Это, может быть, образ целой России или какой-то ее части!

– Ну, и бог с ним, с этим образом, а для меня он как есть подсолнух, а не образ, так и будет, вы мне хоть десять лекций прочитайте. Да и какая к черту Россия, когда там художник, уж и не упомяну, совсем не наш, а... как его... Виннисент, о!

– Извините, Зинаида Ильинична, никто вам лекции читать не собирается.

– И прекрасно!

И атмосфера непонятно почему сгустилась может, оттого, что надо было возвращаться к своим кастрюлям. Тут Мария Ивановна вспомнила, что видела в окне, как по двору тащили из гастронома уток.

– Да что же вы раньше-то молчали! – воскликнули в сердцах женщины.

– Так искусство же, – пролепетала Мария Ивановна.

Правильно, этого следовало ожидать, уток разобрали еще полчаса назад. В этот раз, как и всегда, победило искусство. И, что особенно обидно, были не одни только утки, но и куры. Очередь в основном стояла молча и монолитно, но одна дама интеллигентного вида, в очках, сильно волновалась.

– Ноги! Какие у них ноги? – восклицала она. – У них должны быть такие ноги! – она показывала руками, какие у кур должны быть ноги, и в третий раз обратилась через головы покупателей к продавщице: – Скажите, ноги у них какие?

– Человечьи, – небрежно бросила продавщица, мельком взглянув на суетливую даму и не прерывая двух своих вечных дел: взвешивания с обвешиванием и подсчитывания с обсчитыванием.

Федра Агафоновна, худая, хоть и широкая в кости, в сравнении с Марией Ивановной была сущим пустяком, правда, наполненная смыслом. И если у Годуновой за прорвой дел абсолютно не хватало времени на умственные упражнения, то у Федры Агафоновны вначале было слово, а уж потом дело. Хотя и хозяйкой она была неплохой: у нее и суп варился как-то сам по себе, и что-то парилось в кастрюльке, а она, если не жаловалась на погоду (она, как импрессионист, плохо переносила дурную погоду и ветер), то рассуждала исключительно об искусстве, этнографии и Жане Марэ. Вернувшись из гастронома без уток, она вспомнила, какие шикарные утки были у этих голландцев.

– И вообще Ренесанс – у нас такого не было, нет и не будет!

Марии Ивановне Рене Санс представлялся непременно брюнетом с усиками, как у сослуживца мужа, Аркадия Григорьевича, и с кожаным коричневым портфелем. Мария Ивановна со школьной скамьи вышла сразу же замуж и не успела нахвататься основ, которыми у девушек принято прельщать юношей.

– Вы знаете, – воскликнула Федра Агафоновна, – какой у них спонтанный мазок! – она взглянула на растерянное большое и усатое лицо соседки, на мгновение застывшее в раздумье, и подумала: «Нет, как еще сильно в нас невежество, и ведь страшно подумать – появятся у нее дети и она начнет учить их, наше будущее. Что ждет страну?» – и добавила: – Нет, вы себе этого даже не представляете!

Федра Агафоновна полагала, что спонтанный мазок можно производить только на специальных холстах и исключительно акварелью или масляными красками, которые продаются в коробках в магазине «Школьник». Не будем забивать ей голову рассказами о том, что на самой обыкновенной белой бумаге, на том же ватмане или полуватмане (вон спросите Бороду или хотя бы Федю Марлинского... Что смотришь, Рыцарь? Не все ли равно, кого спрашивать – ответ-то будет один), можно рисовать еще и простыми графитными мягкими 5Б и цветными, свинцовыми и тушевальными карандашами, черной и китайской тушью – пером и кистью, мокрым, сухим и твердым соусом – черным мелом, пальцем и растушкой, однотонной акварелью и гуашью, сангиной и пастелью, обычным и промасленным древесным углем, сливочным и подсолнечным маслом, лимоном и керосином, раствором чая и кофе, обезжиренным молоком и раствором киноплетки в ацетоне, резинкой и ватным тампоном и просто прикладывая грязные пальцы к шероховатой бумаге. Не будем забивать ей голову рассказами о том, что совершенно изумительный рисунок выходит на предварительно намоченной, натянутой и хорошо просохшей цветной бумаге, столь любимой старыми мастерами. Не видела она последней выставки, на которой были широко представлены разнообразные бумажные салфетки из-под тарелок с салатами, супом, котлетами по-киевски, с разноцветными жирными пятнами, отпечатками пальцев, ладоней, толстых и тонких губ... А сколько она потеряла, не посетив выставку, на которой демонстрировались женские панталоны, заботливо собираемые одним семейством на протяжении ста пятидесяти лет и разрисованные жанровыми картинками. Название этой чудной выставки было: «Сокровенное». Да и в конце концов, если спешите, можно к деревянной доске прибить простыми гвоздями крест-накрест кисть и карандаш – это и будет герб художника или, если угодно, его крест.

Чтобы покончить с Рене Сансом, Мария Ивановна решила заварить чай, пусть с полчашки потомится на плитке. Егорушка любит крепенький. А то третьего дня в гостях таким напоили! Мария Ивановна взяла в щепотку второсортного грузинского чая, бросила ее в заварной чайник, посмотрела, добавила еще полщепотки и залила крутым кипятком. Кипяток вылетел через носик и обварил ей руку.

– Мария Ивановна! Голубушка! – удивилась Федра Агафоновна. – Давно хотела вам сказать: вы совершенно не в курсе, как заваривать чай. Для заварки, во-первых, нужен байховый чай. Высшего сорта, разумеется. Китайский, индийский или цейлонский. На худой конец, экстра грузинский. Бай-хо-вый. Бай-хоа. По-китайски «белые реснички». А во-вторых, вот это, что у вас в чайнике, не чай, это, пардон, моча конская.

По коридорчику шмыгнул Архип Кузьмич и закрылся в туалете. Следом за ним ткнулся в дверь Ипполит Сергеевич, но опоздал.

Марии Ивановне было крайне досадно: другие и работу приличную имеют, и по хозяйству расторопны, и детей воспитывают, и об искусстве свободно говорят и даже рассуждают, и про брюнета Рене Санса с белыми ресницами знают, а тут ни работы стоящей, ни детей, ни образования, а вместо искусства и Жана Марэ одна жратва. Мария Ивановна злобно, но у нее даже злобно выходило мягко, намяла тесту бока.

К Федре Агафоновне опять подошел Ипполит Сергеевич, надув губки, шепнул что-то и почесал ножкой о ножку, но та сказала: «Потерпи, Поль». Поль стал терпеть возле самой двери, за которой замолк Архип Кузьмич, и как бы невзначай время от времени брался за ручку. Слышно было, как за дверкой хихикал зять бабы Зины. Он там любил читать «Крокодил».

В это время и вошел Мурлов. Он спешил, так как хотел записать кое-какие мысли и образы, пока они не испарились, не улетучились в кухонно-прачечной атмосфере коммунальной квартиры. У него руки чесались написал что-нибудь эдакое об Агамемноне. Эпическое.

В ванной щелкнула щеколда, и из нее вышла распаренная баба Зина.

– Ой, не смотрите на меня так! – воскликнула она, столкнувшись с Мурловым. – Какой вы холодный! Мария Ивановна, вы опять в прихожей не выключили свет!

Через полчаса на кухне у кого-то что-то сгорело, и дом долго сотрясали двенадцатибальные (по шкале Рихтера, не Святослава) эмоции соседей. Хор пел: «Вот так всегда! Вот так всегда!» А бас с меццо-сопрано, сцепившись, восклицали вместе и врозь: «Чтоб вы сгорели! Чтоб вы сгорели!» И над ними, выше и громче, тенор надтреснуто дребезжал: «Бачок, кто будет смывать бачок?!» И дико орал рыжий годуновский кот Хрыч, истязаемый будущим Агамемноном – Гришкой Горевым.

Говорят, МЧС зародилось как раз на этой кухне...

По поводу сна есть древнее поверье, что глаза человека по ночам вылезают из орбит и блуждают по земле. И что увидят они, то и приснится человеку. Годунову приснилось, что его выдают замуж. А чуть позже ему пропели петухи – и это в разгар холодов!

Спал Егор Борисович беспокойно, как на вокзале. Утром он очнулся от полуяви-полусна и долго смотрел на Машину кровать, где никого не было, а только что сидела балерина. Балерина сидела, закинув вытянутую ногу за голову, как кошка, и глядела на него круглыми желтыми немигающими глазами. Она еще лизнула себе голяшку – раз, другой – острым красным язычком. Годунов расправил простынь, смятую в гармошку, зевая, сел на кровати. Кровать отреагировала на него новыми незнакомыми звуками. Гнусное было самочувствие: тошнит, тело разбито, поясница задеревенела.

В приемнике началось «Доброе утро». В воскресенье оно всегда доброе. Не то, что в понедельник. На кухне монотонно журчала молотилка Федры Агафоновны, перебиваемая изредка густым баритоном. Кто же это такой? Знакомые интонации... Егор Борисович, не найдя своих тапок, прошлепал босиком до дверей, приоткрыл их, чтобы лучше слышать кухонный треп вперемишку с последними известиями, прикрутил приемник и снова лег в постель.

Обсуждали вчерашний скандал на кухне. Да-да, что-то сгорело там... Вот он откуда горьковатый осадок в горле и на душе. Федра Агафоновна говорила, что всё суeta суeta, и это было не лишено разумности.

Чей же это баритон? Не наш кто-то. Но тембр вроде знаком, и манера выделять каждое слово... Манера вести разговор Машина. Воскресный детектив.

– Да нет же, нет, Федра Агафоновна. Во всем виноват сам Архип Кузьмич. «Кашляет»! Кто его заставляет курить? Я вот не курю и – не кашляю. В семье у нас никто никогда не курил!

Кто же это такой? Приезжих вроде нет. Хм...

– А Мария Ивановна, скажу вам по секрету, как-то призналась Зинаиде Ильиничне, что баловалась понемногу, еще до замужества.

Минутная заминка.

Чего же Маша-то молчит? Или ее нет там? Ушла что ли куда?

Снова баритон:

– Мария Ивановна? Нет, она никогда не баловалась этой гадостью.

Интересно, он-то откуда это знает? А Маша, где Маша?

– Ну, не знаю, не знаю! Вам, конечно, лучше знать!

Вот те раз! Вам, конечно (подумать только – “конечно”) лучше знать!

– А что это вы с утра на кухне? – не унимался голос Федра Агафоновны. – Ваша половина...

– Отдыхает. Воскресенье все-таки...

Ничего не понимаю. Ни-че-го.

Годунов снова сел на кровати. Кровать нутужно простонала под ним. И кровать по-другому реагировала на него. Как на чужого.

– О! Егор Борисович! – слышался с кухни возбужденно-фальшивый голос Поля. – Доброе утро!..

Чего это он, сдурел? Он бы еще с первого этажа заорал.

– ... Приветствую вас! Решили сами приготовить воскресный завтрак? Это замечательно!

– Да, Егор Борисович любит начинать воскресный день оладушками с маслом и медом, – ответил мужской голос.

Очень верно ответил, кстати.

– Скажите, пожалуйста! А Мария Ивановна, что же в таком случае любит?

– Мария Ивановна? Мария Ивановна любит всё то, что любит Егор Борисович.

Егору Борисовичу радоваться бы этим словам, но не до радости ему было. Ему показалось вдруг, что он в партизанском отряде, а партизанский отряд во вражеском кольце.

Получается, баритон – Маша? Если не Маша – ничего не получается. Она простыла! Господи! Ну, конечно же, она простыла! А ведь я предупреждал! Голос сел, осип, охрип. Всё ясно. Так и есть – простыла! Вчера растворили все окна и двери настежь, жарко им, а у Маши такое слабое горло.

Годунову нехорошо стало от собственной версии, так как она сулила ему много беспокойства, связанного с уходом за больной Машей. Годунов любую, самую пустяковую чужую болезнь воспринимал как смертельную свою.

Мед! Оладья с медом – лучшее средство! Да, но где же я все-таки слышал этот голос? Мед, мед поможет.

Годунов ощутил во рту вкус оладушков в масле и меде. Десять-пятнадцать оладушков – так прогревают организм! А к ним бокал какао с каймаком. Егор Борисович проглотил слюну и погладил себя по животу. Какое-то смутное волнение охватило его, но тут закричала баба Зина:

– Егор Борисович! Егор Борисович! Помогите! – кричала она из ванной.

Ну, что ей понадобилось с утра? Ведь я могу еще спать. Беспардонная бесцеремонность!

Годунов стал шарить ногами в поисках тапок, но их нигде не было. В комнате был полумрак. Еще толком не рассвело. Тапки оказались почему-то с Машинной стороны. А трико и рубашки вовсе не было. Через сиденье стула был переброшен Машин халат, а спинку с двух сторон прикрывал ее розовый бюстгальтер.

– Егор Борисович!

– Ч-чер-рт! – выхватив из шкафа свой плащ, Годунов накинул его на себя и поспешил в ванную. В ванной было темно. Возле табуретки копошилась баба Зина.

– Здравствуйте, Зинаида Ильинична, – сказал он высоким голосом и стал откашливаться.

– Здравствуйте, Мария Ивановна.

Егор Борисович оглянулся. За его спиной Маши не было. Вообще никого не было.

– А-а-а, – произнес он не своим голосом и прислушался к нему – странно, вроде знакомый.

– Где там Егор Борисович? Куда вы его дели, Мария Ивановна? И что это вы, плащ надели?

– Егор Борисович?... Я сейчас, – отступил в суеверном ужасе Годунов и пошел в комнату, бормоча про себя: «Дели – надели, дели – надели...»

За его спиной раздался голос бабы Зины:

– Егор Борисович, могли бы пожалеть пожилую женщину – вкрутить лампочку!

Годунов в замешательстве прикрыл за собой дверь.

– Зинаида Ильинична, он сейчас придет, – уверенно произнес баритон.

– Нет, ваша помощь мне теперь не нужна! – воскликнула баба Зина.

В ванной загремело. Вскрикнула и захныкала баба Зина.

– Ну, что же вы, Зинаида Ильинична! Надо осторожнее...

– Не прикасайтесь ко мне!

Годунов нервно почесал себе грудь, но не смог дочесаться до нее, как через пухлик. Он зажег свет и глянул в зеркало. Ужас положил на него свою холодную руку.

Егор Борисович вздрогнул, уставившись в лицо Маше. Та ошалело глядела на него и тоже проверяла себе щетину, которой у нее не было. Она прикоснулась к необъятной своей груди, отдернула руку и дико улыбнулась. А потом открыла рот и стала скалить зубы в зеркало, как шимпанзе в зоопарке.

Годунов почувствовал, как нарезали ему тело трусы и стал поправлять их, но они не поправлялись, так как поправился чрезмерно он сам. Трусы разошлись по швам.

Егор Борисович протрусил в туалет по надобности. Через пару минут туалет заорал бла-гим матом. Сбежалась кухня, раскрылись все двери, сонный Гришка выехал на велосипеде. Егор Борисович вышел из туалета и неестественно прямо прошествовал в свою комнату. Синий плащ покрывал полные белые плечи и не мог покрыть белой женской груди.

– Что это с Марией Ивановной? – прошептала баба Зина.

Никто ей ничего не ответил.

Годунов медленно лег на постель и медленно проверился еще раз. Результаты проверки были самые неутешительные: не было главного, ради чего она затевалась. Ошибиться было трудно.

В дверь заглянул мужчина. Егор Борисович уловил это явно не мужским чувством.

– Егорушка, что с тобой? Ты стонешь? – спросил баритон.

– У Егорушки, кажется, поехала крыша, – слабо сказал Годунов. – Да и фундамент дал трещину.

– А что это у тебя какое-то странное лицо?

– Это чтоб скушать твои оладушки, Красная Шапочка, – нежно сказал Годунов. – Ты что, ничего не заметила или издеваешься?! – взвизгнул он, и, как теперь уже убедился окончательно, голосом Маши. – Ведь Егорушка теперь ты, а я – козленочек, козел я, а-а-а!!!

– Ничего не понимаю, – лже-Егорушка зашел в комнату, прикрыл за собой дверь и со страхом уставился на лже-Машу знакомым до тошноты лицом. На лице его играла, как котенок, сумасшедшая улыбка. Потом лже-Егорушка повернулся к зеркалу, поглядел в него и тихо положил зеркало вниз лицом.

– Теперь ты снова Маша, – сказал Годунов и истерически засмеялся. – А вот так, – Годунов перевернул зеркальце. – Снова Егорушка! Раз – Маша! Два – Егорушка! Раз – Маша! Два – Егорушка!

– Егорушка, я сама с раннего утра думала, что сошла с ума. И как-то так получалось, что в ванной света не было, тут ты спал, оладьи эти... Да что же я буду делать теперь? Егорушка-а-а!

– Да не ори ты! Голос-то у тебя (не забывай) мой!

Годунов стал разглядывать себя в зеркале. Чехов, кстати, так написал об этом: «Егорушка долго разглядывал его, а он Егорушку».

– Егорушка, что мы вчера кушали?

– Опомнись, Маша. От еды еще никто не превращался в бабу и наоборот. От слив рога только вырастали.

– От каких слив? Мы слив не ели. Какие сейчас сливы? Зима на дворе. Может, выпили чего?

– Грузинский чай пили. От него девушка может стать женщиной. Но мужчиной?

– Он еще юморит!

– Егор Борисович, – постучала в дверь Федра Агафоновна, – там оладьи горят, – и услышала, как Мария Ивановна сказала: «Чтоб они там сгорели вместе с тобой!»

Лже-Егорушка подскочил и заторопился на кухню.

– Ты, Егорушка, лежи. Маша... Ой, не знаю. Я что-нибудь объясню.

Ты объяснишь! – Годунов в бешенстве представил, как завтра он пойдет на работу.

Черные оладьи дымились и коптели.

Лже-Егорушка скинул их со сковороды в ведро, а остальные, золотистые и пухлые, полил растопленным сливочным маслом и в одну вазочку положил тертую клюкву, а в другую алтайского меда.

«Какой мужчина! Ах, какой мужчина!» – Федре Агафоновне стало невыносимо жалко себя, когда она представила рядом с осанистым Годуновым своего недоделанного Поля.

Лже-Егорушка внес теплые оладушки и почти игриво сказал:

– Его-ору-ушка-а! Вставай! Твоя козочка принесла оладушки.

– Ме-е-е, – сказал Егор Борисович. – Я еще не умывалась.

Лже-Маша протрусилась в ванную и неловко умылась там, точно первый раз в жизни увидела воду, и машинально стала помазком намазывать себе щеки и подбородок.

Заглянувшая в ванную Федра Агафоновна с наигранным ужасом спросила:

– Вы бреетесь?

Егору Борисовичу стоило немалых трудов, чтобы не запустить в соседку мыльницей. Он мягко вытолкнул Федру Агафоновну в коридор и только тогда понял, насколько дико должна выглядеть женщина, собирающаяся скоблить безопасной бритвой свои щеки и подбородок. Федра же Агафоновна окончательно убедилась в том, что Мария Ивановна периодически сбривает свои усы. Годунов смыл пену, прогулочным шагом забрел на кухню и как можно развязнее сказал:

– А вы знаете, мыльная пена очень хорошо размягчает кожу лица, – и лже-Маша продемонстрировала мягкость атласных щек.

– Вы заблуждаетесь, милочка, – сказала Федра Агафоновна, – мыльная пена, напротив, сушит кожу лица. Я могу дать вам почитать журнал «Работница», восьмой номер.

– Благодарю вас, – с достоинством сказала лже-Маша, – я предпочитаю опыт, – и удалилась, мерзавка!

Федра Агафоновна швырнула в раковину ложку.

«Нет. Это какая-то первобытная фанатерия! О, дикость! – Федра Агафоновна приложила тыльную сторону ладони к пылающему лбу. – От горшка два вершка – а туда же! Ни образования, ни ума, ни того же опыта. Так, кусок мяса. Мужика отхватила и жирует за его широкой спиной. Думает, наверное, что совершила свое жизненное предназначение».

– Бедный Егор Борисович! – вслух произнесла Федра Агафоновна в тот момент, когда лже-Егорушка заходил за кастрюлькой с какао.

– Вы что-то сказали, Федра Агафоновна?

– Вас жаль, Егор Борисович. Мария Ивановна, не дай бог, серьезно заболела. Вы обращайтесь ко мне. Во мне вы найдете самого бескорыстного и преданного друга.

«Ща-ас!» – сказала сама себе Мария Ивановна, но чтобы поддержать диалог на должном уровне, сконцентрировала всю свою волю и память и произнесла:

– Сударыня, я тронут вашим участием. Заверяю вас, я отвечу вам не менее искренними чувствами.

Баба Зина, ставшая невольным свидетелем этой сцены, подумала, что у кого-то из присутствующих не все дома.

Какое-то время Годуновы провели в полнейшей прострации. Что делать, куда идти, где искать помощь, и просто, как и кому объяснить случившееся, если оно никак не объясняется, – согласитесь, задуматься было над чем. Мелькали у них даже мысли о побеге, отшельничестве, затворничестве, монашестве, суициде, харакири, думали идти сразу в дурдом и там рассказать эту трогательную историю; там хоть не будут сразу вязать, затыкать кляп, куда-то заталкивать и везти, пытаться и допрашивать; и не увидят и не разнесут по всему миру соседи; на месте своем дурачком сразу и разберутся – известно, конечно, как, но там все-таки больше надежды понять друг друга – там обе стороны разделяет лишь невидимая грань безумия, и нет этих всяких социальных перегородок и институтов. Так рассуждал Егор Борисович, он же – лже-Маша, он же Мария Ивановна Годунова. Да, дорогие товарищи, кого мы держали в коллективе! – заявят на разных собраниях активисты, готовя протоколы для разнообразных контрольно-наблюдательных органов. Словом, кошмар! Так резюмировала Маша, лже-Егорушка, Егор Борисович. И это было именно так: кошмар! Особенно, когда лже-Маша стала декламировать:

– Не дай мне бог сойти с ума...

Но в них был, видно, силен дух жизнелюбия и свободы, была и решительность, свойственная этой фамилии.

Несколько часов Годуновы репетировали свою дальнейшую жизнь, в которой всегда возможны варианты, как в квартирном обмене. Впрочем у Годуновых таких вариантов не было.

– Я понимаю теперь, как тяжело нашим разведчиком, – сказала бархатистым баритоном Маша.

Егору Борисовичу странно было видеть перед собой самого себя, несущим всякую чушь. Знать бы, кто это сделал из нас два чучела! Когда Маша его голосом говорила то, что пристало говорить ей своим голосом, ему было не по себе. А поскольку Маша сама нервничала и разговаривалась не в меру, Годунову сделалось совсем плохо.

Вот так же, наверное, дико слушать рассуждения гробовщик или ассенизатора о принципах государственного устройства. Она же опозорит меня на людях! Что они скажут обо мне?

Егор Борисович и здесь не замечал собственной ошибки: Маша позорила бы уже не его, а себя, но как же трудно к этому привыкнуть!

Маша продолжала развивать мысль о том, как тяжело, наверное, было нашим разведчикам снаружи быть врагом, а изнутри нашим.

– Это всё равно, что вывернуться наизнанку! – воскликнула она.

– Не так уж это и тяжело, Маша, – вздохнул Егор Борисович и поймал себя на том, что этот вздох у него получился совершенно женский. – Мы все с детства на тридцать раз вывернутые, как застиранный целлофановый пакет.

– Полиэтиленовый, – поправила Маша. – И ты представляешь: носить в себе тайну, которую знают во всем мире только два человека! – помолчав, воскликнула она.

– Знают двое – знает свинья.

– Какая? – не поняла Маша.

– Вопросы задавай энергичней. А то чересчур мягко, по-женски получают. Маша, поговорим серьезно. Нам завтра с тобой идти на работу. Понятно, работу надо будет менять. Другого пути нет. А с работы так просто, за час не уволишься. Так же, как и с этой коммуналки враз не съедешь. Что будем делать? Что говорить?

– Да-да. Вот как, интересно, воспримут меня мои девки в новом облике?

Годунову это не понравилось: что значит – как ее воспримут. Нет, как воспримут его! Он же пойдет на ее работу, а она – на его. Что же такое сделать завтра? Заболеть? Взять за свой счет? Уйти в отпуск? Проще помереть или впрямь сойти с ума.

– И ты представляешь, Егорушка, – мечтательным баритоном произнесла Маша, – ты машинально заходишь в отдел мужской одежды и начинаешь примерять себе брюки! А я – женские туфельки! – рассмеялась Маша-оборотень.

– Да уж... – представил Годунов светлые брюки пятьдесят второго размера на бедрах шестидесятого и сорвался на истерические нотки, но при этом не потерял способность контроля за собой со стороны и вспомнил, что от истерических припадков и кликушества разводят золу в воде и пьют. Представив во рту эту гадость, Годунов сразу же успокоился.

– Давай-ка, Маша, шархнем водочки. Без оной тут не разберешься.

Огурчики славно хрустели. Водочка ударяла, согревала, отрешала. Одна радость осталась.

– Вот завтра мы встаем, – стал рассуждать Егор Борисович, – завтракаем, расходимся по своим работам. «Здравствуйте, Мария Ивановна, – скажут мне. – Привет, Маша. здравствуйте, Годунова». А я им: «Нет, ребята. Нет, девчата. Нет, Петр Семенович. Я не Мария Ивановна. Я не Маша. Я Егор Борисович, – Годунов колыхнул задом и бюстом. – Хотите, паспорт покажу?» А они мне: «Покажи лучше, Егор Борисович, членское удостоверение».

– Не надо пошлостей, Егорушка. Да и чего тут голову ломать. Решили же! Тебе идти надо на мою работу, а мне на твою.

Егор Борисович после третьей рюмашки смирился с неизбежным. Да, вариантов не было.

– Маша, самое главное, что нужно инженеру по соцсоревнованию – это...

– Не вылезать из штанов. Соображу как-нибудь. Уж чего-чего, а этого добра у нас во сколько! Одни победители!

– Ну, разошлась...

– Это тебе надо подумать, как быть, а не мне. Ты хоть когда-нибудь кисть в руках держал?

– Обижаешь, гражданин начальник. И красил, и белил, и олифил, и циклевал, и грунтовал, и сачковал – все делал. Как Никита Сергеевич.

– Красила, белила, олифила... Егорушка. Маша ты теперь.

На ужин Маша (в первой редакции) вышла разогревать тушеное мясо. Баба Зина поинтересовалась у лже-Егорушки, как там Мария Ивановна.

– Ничего, идет на поправку.

– Скоро у нее!

– У нее могучий организм.

Подошел Ипполит Сергеевич и стал оспаривать неправильное решение арбитра, удалившего с площадки Старшинова.

– А вы напишите в газету «Советский спорт»! – предложил лже-Егорушка.

Появилась на кухне лже-Маша, и по укоренившейся Годуновской привычке стала декламировать о тех, кто будет жить при коммунизме. Баба Зина молча смотрела на нее. Лже-Маша осеклась, потопталась и ушла.

– С лица сошла Мария Ивановна... – покачала головой баба Зина.

После ужина пробежались еще разок по анкетным данным, хлопнули для спокойствия по рюмашке, и с удовлетворением убедились в том, что хрустящие огурчики с водочкой не единственная и не последняя радость, оставшаяся им. Как говорится, от перемены мест слагаемых, сумма удовольствий не изменилась.

Репетиции репетициями, театр театром, а жизнь жизнью. На Машиной работе Егора Борисовича встретили, как обычно, традиционным вопросом (Маша забыла сказать о нем Егорушке):

– Ну, Машка, сколько раз за воскресенье осчастливил супруг?

– Три раза, – машинально призналась лже-Маша.

– Да, – сказали коллеги, – три раза это хорошо. Как в санатории. А наши сволочи опять на рогах.

– Наставили? – спросил Годунов.

Но те не ответили, так как задумались о жизни.

Подумав, рябая подружка пихнула лже-Машу плечом и, подмигнув остальным, сказала:

– Смотри, Машка, отобью мужика. Ох, охочая я до осанистых! Да еще до трехразовиков...

Бригада захохотала, а Годунов посмотрел на рябое лицо с отсутствующим передним зубом, и ему стало тошно от соблазна. «Когда же работать начнем», – подумал он.

Не было мастера; потом пришел мастер, но пропал бригадир; потом обнаружили, что кисти забыли замочить, а те, что замочили, украли; потом машину ждали до одиннадцати, до двенадцати, а там уже ехать поздно – обед... И так весь понедельник.

– Хуже нет понедельника. Устаю больше, чем дома, – пожаловалась рябая соблазнительница.

– Да, – согласился Годунов. – Хуже нет работы, когда ее нет.

В самом конце рабочего дня покрасили синей краской панели, и Годунов был приятно поражен тем, что рука его ровно и легко водила кистью, да еще сэкономила краску для дома.

После работы Годунов зашел в «Трикотаж» и купил Маше кофточку.

– Ой, Егорушка! – Маша была тронута, но приложив кофточку к груди, рассмеялась и протянула ее Годунову.

– Это, Егорушка, тебе от меня.

Егор Борисович по-женски рассмеялся.

– Ну, как там у тебя? То бишь, у меня? Рассказывай, – попросил он.

– А у тебя? Трепались, наверное, весь день. По понедельникам на работу хоть не ходи.

– Нормально все. Тебе привет от рябенкой. Нравишься ты ей.

– А у меня тоже все нормально. У ненормальных всегда все нормально. Планерка, цехом, техника безопасности, еще чего-то. Дурота одна!

Следующей осенью Мария Ивановна родила сына, а Федра Агафоновна от неразделенной любви к Егору Борисовичу Годунову завела от своего мужа Поля дочь.

Мурлова хотели взять еще тепленького, прямо в постели. Но он кубарем скатился по лестнице и что есть духу шпарил по узким незнакомым улочкам. За ним гнались упорно и быстро, шумно и хрипло дыша. Свернуть было некуда. Тут подвернулась открытая дверь. Мурлов заскочил и закрыл дверь на крюк, и в то же мгновение что-то большое навалилось на двери. «Занес же меня сюда черт!» – в сердцах подумал Мурлов. С потрепанного плаката пальцем в лицо тыкал мужик со злобной физиономией. За дверью что-то обсуждали. Мурлов осмотрелся. Оказывается, это был туалет самой обычной конструкции. Ничего тяжелого не было, и Мурлов рванул цепочку от бачка. Тут унитаз встал на дыбы, как конь, подхватил Мурлова, вышиб дверь и дунул вдоль по улице. Из-под ног прыскал всякий вздор, а впереди, мелко дрожа, с визгом перла огромная, как с павильона ВДНХ, свинья. За спиной, разевая пасть, галопировал черный рояль. С тротуара крикнули: «Третий номер обходит!»

Мурлов наподдал и пришпорил. Свинья круто развернулась, врылась в землю всеми копытами и угнула голову. «Сворачивай!» – гаркнул Мурлов, и унитаз снес заборчик и забурился в грядку с укропом. На дороге ревели столкнувшиеся свинья и рояль – две ветви цивилизации. Мурлов, весь в земле и укропе, стоял посреди развороченной грядки, а со всех сторон бежали преследователи.

Мурлов вскочил на унитаз: «Голубчик, выручай! Вовек не забуду!», и с криком: «Ну, сучьи дети!» – прорвал окружение и вылетел на околицу. Унитаз выскользнул из-под Мурлова, как кусок мыла, и, подпрыгивая, пропал за горизонтом, а Мурлов очухался в своей комнате на полу рядом с кроватью. За окном выла метель, и, подгоняемый порывами ветра, как сирота, плелся куда-то к чертовой илионской матери самый древнегреческий царь, Атреево отродье, гроза троян, ахейн слава, генсек и вождь народов, бабник и алкаш, ворюга мерзостный – Атрид Агамемнон... Как все надоело!

(Глава 27 из романа «Мурлов, или Преодоление отсутствия»)

Поезд

Врач внимательно осмотрела Анну Ивановну, послушала. Возвела очи горе, подумала. Закрыв глаза, ощупала всю. Встряхнула руками, расслабляясь. Смерила давление, вздохнула. Вымыла руки и молча выписала рецепт. По одну сторону стола сидела величественная и красивая Анна Ивановна (не вняла рассказам Анны Петровны, пошла к бездельникам да бестолочам). По другую – съедаемая хроническими заботами и острым безденежьем участковый врач. Кто кого должен выслушать и успокоить? Казалось, врач проделала свои пассы исключительно ради клятвы Гиппократы или для самоуспокоения. Настю встревожило это мытье рук. С мылом, на два раза. Почему она не помыла их до осмотра? Настя проводила терапевта на лестничную площадку. Вопросительно посмотрела в глаза. Глаза выскользнули, как мыло, и послышался вздох:

– Дело дохлое.

– Что? – решила, что ослышалась, Настя.

– Надо делать полную съемку и прокалывать. В железнодорожной больнице. Там японский телевизор, – и врач стала спускаться по лестнице, на повороте добавила: – Не тревожьтесь, сумма прожитых лет все равно меньше прожитой жизни.

Настя растерянно смотрела ей вслед. Хотела спросить о чем-то, но внизу хлопнула дверь. Настя вернулась домой и увидела себя в зеркале с открытым ртом. Не закрывая его, спросила мать:

– Что сказала врач?

– Что слышала, то и сказала, – ответила Анна Ивановна. – Ну их, врачей твоих! Придут, изомнут, как яблоневого цвет. А проку никакого! Чего там в рецепте пишут нового?

– Врач настаивает, чтобы сходить с тобой в железнодорожную больницу.

– Она же где-то на задворках жизни, – буркнула Анна Ивановна. Нацепив очки, она долго изучала рецепт. – Ничего не понять, – протянула Насте бумажку, на которой Настя тоже ничего не разобрала.

– Что написано-то? – раздражаясь, спросила Настя (ей надо было еще сегодня успеть сходить в библиотеку, теперь, понятно, не до библиотеки). – Нацарапают вечно! Как курица лапой! Их, видно, специально обучают этой каракулеграфии.

– Да, это каракулеводство, – сказала мама. – Есть такие овцы.

Настя обеспокоено посмотрела на мать.

– Мама, не беспокойся. Все будет хорошо!

– Это ты не беспокойся. Куда тебе, в библиотеку? Ступай себе в библиотеку. Я одна в больницу схожу. Или вон с Сережей.

– Ну, мама, это, право, смешно!

– Справа смешно, а слева горько. Одевай Сережку! А сама иди занимайся.

«Да, уж кого-кого, а бабушку нашу на козе не объедешь, – подумала Настя. – Черт с ней, с библиотекой!»

– Я тоже пойду! – решительно заявила она.

Больница и впрямь была на каких-то задворках жизни. Возле железной дороги пришлось подняться на насыпь из шлака, идти по ней, то и дело проваливаясь, потом переходить пути, прыгать по шпалам, зачем-то возвращаться по переходному мостику, из бурьяна взлетающего и в бурьян падающего. Сама больница являла собой деревянное двухэтажное строение, на второй этаж которого можно было попасть по наружной шаткой лесенке – и то не всем вместе, а цепочкой друг за другом, как при подъеме на гору.

– Ну и больница! – вырвалось у Насти.

В это время с платформы, которая начиналась сразу же за корпусом больницы, отошел поезд. Со скрежетом, лязгом и пронзительным свистком. Настя вздрогнула:

– Как тут больные лежат? Это же кошмар!

– Нет, тут хорошо, тут же приемный покой! – успокоила ее мать.

Тепловизор располагался в люльке строителей. Кабинет ремонтируют, объяснили в регистратуре. Анна Ивановна залезла в люльку. Люлька закачалась на высоте пяти метров. Настя обеспокоено спросила врача:

– Выдержит?

– Не такое выдерживала.

Оператор накатил на Анну Ивановну аппарат. Что-то включал и выключал, щелкал то тумблерами, то пальцами, не обращая на пациентку никакого внимания.

– Как она там? – спросил он врача, притулившегося с дисплеем у стены.

– На месте, – сказал врач. Он встал, прогнулся, подошел к люльке и похлопал Анну Ивановну по плечу, а оператору ткнул пальцем на дисплей. – Все ясно.

Оператор бегло глянул на экран, показал в левый нижний угол. Врач кивнул. Потом они помогли Анне Ивановне выбраться из люльки.

– Снимок будет готов после укола. Сейчас проколите в процедурном кабинете. Направо.

– Онкология, – услышала Настя за спиной. И ей страшно захотелось поскорее увидеть снимки. Будто от них что-то зависело.

Процедурная была без дверей. Помещение от коридора отделяла грязная, с красными и желтыми пятнами, рваная простыня на веревке, связанной из нескольких бечевок. Виднелся угол помойного ведра, в котором плавали бинты, шприцы, вата. Из этого медицинского месива карабкалась по стене ведра лягушка с удивительно длинными лапками. Сережа помог ей и радостно посмотрел на бабушку.

– Молодец! – похвалила та.

– Вымой руки! – в ужасе закричала Настя. – Сейчас же вымой руки! Я кому сказала!

– Успокойтесь! – сказал из-за ширмочки грубый женский голос, и чья-то рука дернула Анну Ивановну к себе. За ней проскочил и Сережка.

– А вам нельзя! – рука не пустила Настю. – Вам ожидать здесь! Взрослым не положено! За ширмой послышался детский вскрик и успокаивающий голос бабушки:

– Вот и все, Сереженька! Видишь, мне это совсем не больно!

Настя заглянула за ширму. Сережа сидел на топчане, испуганно глядя в открытую дверь на противоположной стороне процедурной. В помещении никого больше не было.

– А бабушка где?

– Там, – указал глазами Сережа на дверь.

– О, господи, что она там делает?

Сын пожал плечами, соскочил с топчана и выбежал в дверь.

– Постой! Ты куда?

Сережа бежал по ступенькам вниз. У платформы стоял пассажирский поезд. Платформу собственно не было видно – столько было народа. И все не просто ждали, а от нетерпения еще и передвигались: то слева направо, то справа налево. Головы катались и бились, как картошка на ленте транспортера. Все толпились и шумели.

– Сережа! Сережа! Постой! Где бабушка! – она догнала Сережу, схватила за руку. – Не скажете, куда поезд?

– Туда, – указал мужчина в длинной до пят шинели. «Генерал Хлудов» – был пришит квадратик на его спине. Один уголок отпоролся. Надо бы пришить, да вот некогда, подумала Настя.

– Так куда ты дел бабушку? – спросила она у Сережи.

– Съел.

Настя, крепко держа сына за руку, вернулась в больницу. Всю ее пронизала тревога. Тревога была и в трясущихся руках, и в блуждающем взоре (она как бы видела себя со стороны), и в мятущихся мыслях. Больница изнутри имела жуткий вид. Можно было сдохнуть от одних только стен. Настя шла по грязному коридору, заглядывала во все кабинеты и спрашивала у всех, не видел ли кто тут высокую красивую женщину, седую и в клетчатом платье. Никто не видел. Больных было много, все они были в затрапезных халатах или пижамах, застиранных спортивных костюмах или растянутых женских рейтузах, тощие и распухшие, нечесанные и небритые. Воняло потом, мочой и жуткой смесью дешевых лекарственных препаратов. Слава богу, среди этого ужаса мамы не оказалось. Но где же она? Снова спустились на узкую платформу. Людей на ней стало еще больше, но в вагоны не запускали. Все, вцепившись в сумки, чемоданы, детей, с заметной дрожью ожидали момента открытия.

– Здравствуй, Настя, – тронул ее за плечо седой мужчина в полосатой пижаме. С бородой, усами, приятным молодым голосом. – Я твой отец.

– Что? – в ужасе воскликнула Настя. – Что вы несете? Какой отец? Вы сумасшедший!

Она отшатнулась от него. Сережа летел за нею, как набивная кукла.

– Вы маму мою не видели? Красивую седую женщину? – спрашивала Настя у всех. Все молчали, качали головой, пожимали плечами. Наконец кто-то сказал:

– Она пошла в третий вагон. Для пенсионеров.

В это время разъехались в вагонах двери, и восходящий поток пассажиров занес Настю с сыном в вагон. Все места были уже заняты. Настя чувствовала себя, как в тисках. Повернуться нельзя. Трудно даже дышать. Она старалась защитить Сережу от толпы.

– Это какой вагон? Какой номер? – крутила Настя головой. Все только пучили глаза. – Кто скажет, где третий?

– Между вторым и четвертым.

– Поезд отправляется! Осторожно, двери закрываются! – предупредил голос. – Следующая остановка «Прошлое».

– Что? Что? Какое «Прошлое»? Это по какой линии? На Кузбасс?

– Сперва на Донбасс.

– Этот поезд куда? – заволновалась Настя. – Маму, маму мою не видели?

– Этот поезд – туда, – многозначительно сказал ей мужчина в длинной до пят шинели.

– Опять вы? – почему-то удивилась Настя. – Вы маму мою не видели?

– А зачем?

– Генерал, если вы не поможете мне, то кто?

– Бог в помощь, сударыня!

– Мама! – стала кричать Настя. – Ты где? Мама! – Сережа дернул ее за руку. – Что? Что тебе? Отстань!.. Мама! Ты слышишь меня? Где ты?

– Остановка «Прошлое»! Прошу соблюдать порядок при выходе. Мусор не бросать!

Зеленые поля с синим небом резко оборвались, как нарисованные на бумаге. Бумагу словно кто-то рванул сверху донизу, с треском рванул. Разом накатила черно-серая выжженная пустыня. За окнами, сколько хватало глаз, расстилалось пепелище. Торчали обгоревшие стволы деревьев. Торчали остовы деревянных домов. Черно-серый цвет был до горизонта. У Насти волосы поднялись от ужаса: пепелище шевелилось, как живое! Это ветер, успокоила она себя. Это всего лишь ветер... Перед тем, как остановиться, локомотив дал резкий пронзительный свисток. Черный цвет вдруг поднялся в воздух, а за ним вслед поднялись серые клубы пепла. Черно-серым стало все пространство, ледяным холодом отдалось оно в перехваченной ужасом груди. Вспугнутое свистком воронье поднялось на минуту, покружило и снова село на безлюдную пустыню. Двери открылись, и наружу хлынула толпа, с гудением и обреченностью, но сколько ни вываливалось наружу людей, число их не уменьшалось. Стало еще труднее

дышать. Господи! Где же мама? Мама где? Нигде ее нет! Настя жадно вглядывалась в лица – мамы не было нигде! Мама, где мама? Нет, здесь мамы просто не может быть. Что она будет делать тут, в этой грязи, в этом кошмаре, со своей красотой? Здесь все сожжено. Здесь ничего уже нет. Нет, здесь не место красивой цветущей женщине. Куда они все? Настя вцепилась в спинку сиденья одной рукой, а другой судорожно прижала к себе Сережу. Мимо рвались, проталкивались наружу люди. Все зло глядели на нее, толкали руками, ругались и били багажом по ногам. Настя прикрывала собою сына. У нее едва не порвались жилы на руке. Да куда же они, с ужасом думала Настя, тут же пустыня! Тут все сгорело. Здесь ничего больше нет! Может, и мне надо остаться здесь? Двери закрылись, разделив людей и время, отделив пепел от огня. Одни заматались в вагонах, другие – по платформе. И кто где хотел остаться – кто бы знал? Ни один из них не был доволен своим положением. Каждый хотел чего-то другого. Чего – никто из них не знал. Они орали, бегали вдоль вагонов, лезли под колеса. Поезд тронулся. На подножках висели гроздь пассажиры, не пожелавших остаться на станции «Прошлое». Поезд набирал скорость. Старые вагоны скрипели и раскачивались. Один за другим люди срывались с подножек на поворотах. Крик их угасал во вновь позеленевшем пространстве. И уносился по страшному желобу времени.

Сердце Насти страшно колотилось.

– Господи! Спаси и сохрани меня и Сережу! Спаси и сохрани! Где же мама, где мама?!

Она протиснулась в следующий вагон.

– Это какой вагон? Это, случайно, не третий вагон? Мама!

– Что вы шумите? Третий вагон в другом конце.

– Пропустите! Пропустите меня! Мама!

– Станция «Настоящее»!

Настя из тамбура видела реку вдаль. Река синей лентой обвивала рощу. Деревья были точно покрыты лаком. Солнце – и слева, и справа, и прямо над головой, оно светило отовсюду. Поезд, не снижая хода, пролетел мимо платформы. На платформе развевались флаги, летали шары, глухо играл оркестр. Заматались и заорали люди. Многие запоздало решили остаться в настоящем. Некоторые стали протискиваться и прыгать в щель приоткрывшейся двери. Кто-то просто вываливался наружу из окон. С непостижимой частотой мелькали столбы и проносились полустанки, как прожитые дни и годы. Сердце заходило в тревоге и тоске. Объявили, что следующая станция – «Будущее». Конечная. И стоянка всего тридцать секунд.

– Почему тридцать секунд?! Безобразие! Почему так мало? Почему не минута? Мы всю жизнь стремились к нему! Нам хотя бы, как в доме отдыха, дайте две-три недели! Мне односторонний номер! Мы будем жаловаться! – закричали в вагоне, срывая голоса, истерически завывая и негодуя в злобе. В репродукторе раздался лишь смешок, а затем сухой щелчок. И дальнейшее было молчание.

На станции «Будущее» люди рванули из вагона неудержимо. Они готовы были пройти сквозь стены, сквозь пол, сквозь потолок. Они вываливались в двери, они лезли в окна, они падали на платформу, они били друг друга и убивали за место в будущем. Они с ненавистью душили друг друга в объятиях. Платформы не было видно. Все застила какая-то белая пелена, в которую люди ныряли, как с вышки, вниз головой. Настя, не выпуская Сережу из рук, рванулась наружу. Она со всей силой давила на белую пелену на выходе – она была, как резиновая. Как в жутких фантастических фильмах. Настя пыталась протиснуть наружу руки, лицо, голову. Липкая резиновая пленка не пускала ее – она тянулась, тянулась, сворачивая набок голову, казалось, она сейчас, как праща, запустит ее обратно в вагон. Потом пленка стала утончаться, лопаться, рваться, отдаваясь своими разрывами где-то в сердце, стал проливаться в душу свет, но свет был пока тусклый и неровный, тревожный свет. И пахло гарью. Настя выбралась наконец и вытащила за собой сына. Она едва успела спрыгнуть на платформу, как за спиной с шипением закрылись двери, и поезд тут же исчез. Сердце ее прыгало, казалось, из груди к вискам.

Перед Настей по обе стороны пути, впереди и сзади, под ногами и наверху расстиралось одно лишь пепелище, на нем не было даже ворон, и ужас сковал ей сердце. И ужас каждого, оказавшегося здесь, слился с ужасом остальных, и серый пепел смерчем одел все пространство. И в том смерче скрылись все люди, скрылись дороги, приведшие их сюда. И здесь не было мамы...

Настя проснулась. Огляделась. И здесь тоже не было мамы.

Прости меня, мама, прости меня, моя ненаглядная, моя бесценная, моя единственная мама! Тебя нет сейчас со мной, но, знаю, придет время, и я сама приду к тебе. И ты простишь меня. Ты примешь меня. Ты обнимешь меня. Ты прижмешь меня к своей груди. Ты погладишь меня по голове и уронишь невыплаканные по мне слезы. Расспросишь и пожалеешь, возрадуешься и вознегодуешь. И будешь давать мне такие запоздалые, но такие своевременные советы, а я буду принимать их, как самый святой дар, принимать и хранить возле самого сердца. Там, где выжжено так много места, там, где промчались много раз дикие табуны страстей, там, где лежит несгораемый камень на душе, на котором написано «Мама». И сама скажешь мне: «Прости и ты меня, Настя! Прости за то, что оставила тебя там одну. Но я сделала все, чтобы оттянуть этот миг. Я сделала все, чтобы ты подольше видела меня не только на портрете, не только на могильной плите. Я сделала все...»

(Интермедия из романа «Сердце бройлера» – 1982 г.)

Красота

Двое мужчин на улочке и муха на стекле встретились и дальше двинулись вместе, то останавливаясь, то обгоняя друг друга. Потом муха улетела, а мужчины скрылись за рамой.

Снова в окне пусто. Лишь непослушные ветки отцветающей сирени причесывает северный ветер, они топорщатся, как старые девы, пытаются сохранить пристойный вид.

Трепещущие от выскальзывающей из них жизни, бабочки-капустницы спешат разбиться парами по кустам смородины – разморенные крылышки снизу, ликующие сверху, и после нескольких мгновений четырехкрылого единения вновь распасться на два бескрылых одиночества, подхватиться порывом ветра и усыпать белым цветом утопанные дорожки и сетки изгородей.

А потом на стекло снова села муха, и рядом с ней оказались мои соседи. Слева от меня живет бывший летчик, справа бывшая балерина. Знакомясь, они говорят: «летчик», «балерина».

Им веришь, так как ему на вид лет пятьдесят, и он вполне еще может летать хотя бы на местных авиалиниях, а ей лет сорок, и она в состоянии танцевать в массовке в глубине сцены. Но он не летает, она не танцует. Три года мы соседствуем, и я знаю это точно.

Они оба на пенсии, хотя и работают, он в Аэрофлоте, она в театре. Оба одиноки, как их профессии, которым они посвятили жизнь. Летать всю жизнь может только человек, не имеющий на земле корней, а танцевать – лишь тот, кто корнями держится за небо.

Они чуть старше, чем выглядят. Не внешне, а внутренне. Там им не перед кем особо молодиться. Он приземист и быстр, как боксер; в небесах он и самолет были величинами одного порядка. Она же тонка и неуловимо порывиста, и ни на миг неотделима от той природной грации, которую во Франции называют женственностью.

Она чуть-чуть выше его, но это не портит общего приятного впечатления, когда смотришь сразу на обоих. Его никогда не увидишь небритым, в драных штанах, а она всегда опрятна, как ромашка. Казалось бы, чем не пара? Они будто созданы друг для друга, но вместе их видят редко...

Три года назад я не знал, что объединяет их. Я просто любовался ими, как нечасто бывает в импульсивной жизни, когда само слово «любование» предполагает некую протяженность во времени и эластичность чувств. Тем более, на даче, где не замечаешь даже природу.

Сегодня знаю: их объединяет одиночество. Не то, что лишает крыльев, а то, что срывает с места. Когда они порознь, оба, словно в восходящем потоке, а когда вместе, парят как птицы, и он показывает, как надо летать и не падать, а она, как надо ступать по небу.

Не знаю, были ли они обременены семьями. В глазах их не видно ни тени раскаяния или обиды, и на них нет копоты домашнего очага, следов клятв, цепей и других атрибутов семейного счастья. Ясно было, что каждый из них все время жил без своей половины, особо о том не жалея, разве что рассеянно думая о «планах», пребывая временами между небом и землей.

У летчика дом из бруса, несколько угрюмый, с баней и гаражом, и только лук и картошка, а у балерины домик кукольный, радостный и уютный, две теплицы и черные, пушистые, как перина, грядки со всевозможной зеленью, какую только можно вырастить в наших краях. У него две яблони, а у нее сливы и вишни. Эти дома строили не они, но постройки удивительным образом пришлись каждому по вкусу и по душе.

Однако есть у них и нечто общее, что сказалось в геометрии крохотных площадок перед крылечками обоих домов. У него лужайка, три на три метра, с короткой густой травой, которую он равняет самодельной косилкой из раскуроченного пылесоса «Радуга». У нее квадратная клумба, тоже три на три, с простыми цветами, флоксами и садовой ромашкой. А посреди

лужайки и грядки, у него и у нее, раскинулись два роскошных куста красной смородины, грозди которой до того красивы, что их не хочется обрывать. Их никто и не обрывает, и они висят до поры, когда за них не берутся птицы.

Он любит замереть в старом кресле рано утром, когда солнце уже теплое, а воздух еще прохладный, и любоваться игрой росы и мельтешением живности; а она вечером, когда солнце прохладнее воздуха и падает за дальнюю кромку леса, и цветы и куст превращаются в черные или лиловые силуэты на золотисто-голубом фоне неба, будто нарисованные на заднике сцены, любит качаться в легком кресле-качалке. Удивительно, именно в эти часы погода чаще всего балует их обоих, благоволя к этой простительной слабости.

По пятницам, за час до того, как она сядет любоваться закатом, летчик приносит косилку и подравнивает зеленые клочки и полоски за домом и вокруг теплиц. Потом он садится на скамеечку, взятую, словно из реквизита к «Жизели», она в кресло-качалку, говорят о погоде, видах на урожай, и так ни о чем.

А в субботу рано утром она приносит ему в глубокой тарелке мытую редиску или огурчики с пупырышками, колкими, как первый загар, и они, молча посидев как зачарованные перед алмазно-изумрудной лужайкой, начинают пробовать овощи, обсуждая их сочность и вкус. И хотя только семь часов утра, овощи милее чая и кофе. Тарелку летчик возвращает в следующую пятницу.

Всё. Больше ничего не происходит вот уже целый год между ними, и если сперва все соседи гадали, когда же будет не свадьба, так банька (некоторые даже наблюдали), то потом потеряли к этим странным посиделкам всякий интерес. Право, скучно, когда просто сидят.

Год назад я прикидывал, с кем из них лучше махнуть участками, чтобы они, соединившись, объединили и дачные хозяйства, но сегодня о том я больше не беспокоюсь.

Балерину звать Ксения, а летчика Петр. Петр и Ксения, Ксения и Петр – получалось очень хорошее сочетание, гармоничное и устойчивое. Не было случайных звуков в этих словах. Не было лишь самого случая, чтобы соединить их должным образом.

Случалось иногда, что они на двоих брали подводу навоза или машину земли. Как-то брали уголь, березовые чурбаки. Я им сразу же разрешил ссыпать их возле моего участка, и они каждый растаскивал в свою сторону, она на аккуратной колясочке для кукол, он в широкой тележке, не иначе, с каменоломни.

Петр несколько раз брался помочь ей, но она останавливала его порыв мягко, но решительно:

– Зачем, Петр Семенович? Мне нужна физическая нагрузка. Перетаскаю. – И перетаскивала иногда до поздней ночи.

Он поглядывал в ее сторону, но не смел более предлагать свою помощь. Все хорошо помнили, как пять лет назад, когда они оба почти одновременно приобрели свои участки (Петр только-только въехал), к ней ввалился Геннадий из дома наискосок.

– Чего забор-то поехал, соседка? Сикось-накось! Мужик-то где? – проорал он. – Нету, что ли? Это поправимо! Айн, цвай, драй, фир, ин ди шуле геен вир!

Через пять минут Геннадий принес из дому топор, клещи, гвозди, рейки. Заходя во двор, деловито отодвинул хозяйку в сторону, подравнивал линию изгороди, по горизонту и высоте, заменил несколько планок, а через час появился сияющий, с портвейном, запахом лосьона и песней «Вологда».

Ксения подошла к забору, отодрала прибитые им планки, выбросила их на дорогу, отворила калитку и молча указала на нее рукой. Пальчики ее брезгливо подергивались: вон, мол, поди вон! А на лице и даже во всей фигуре было такое выражение, которого мужику лучше бы и не видеть никогда. Актриса, словом. Вышел Гена, поджав хвост, и больше помощи не предлагал.

На моей облепихе есть причудливое сплетение веток, напоминающее «Демона» Врубеля, только не сидящего, обняв колени руками, а вставшего на краю пропасти и готового вот-вот сорваться в бездну. Ветер только усиливал впечатление.

Вот как раз под этим демоном рядом с мухой появились Петр и Ксения. Как этюд, рожденный тою же невидимой кистью, что вывела и демона. Летчик и балерина стояли напротив друг друга, почти обнявшись, и разговаривали. Она изящным росчерком длинных пальчиков рисовала в воздухе что-то похожее на обещание, а он загонял квадратную ладонь то в штопор, то в мертвую петлю, а тело, казалось, повторяло эти пируэты.

Меня будто вынесло что из дома. Я вышел и направился по дорожке к калитке. Голоса стихли, послышалось:

– Договорились?

– Договорились.

Они даже не удосужились поздороваться со мной. Что-то случилось, решил я. И не ошибся.

Вчера, то есть, в пятницу, они удивлялись, что впервые вечер приобрел малиновый оттенок. Ни разу еще она не наблюдала такой удивительной прозрачности воздуха, насыщенного легким малиновым ароматом, звоном и цветом. Будто малина созрела в небесных садах, и дождь и солнечный свет омыли ее, просеялись на землю радужной пылью и осели на всем сияющими капельками радости.

Из-за поворота появилась женщина в шляпке с четырьмя детьми-погодками. Старшему мальчику было лет десять. Они будто вышли из шестидесятых годов, когда из дома не просто выходили на прогулку, а совершали ритуальный выход в парк или кукольный театр. Во всяком случае, в приличных семьях. Отсутствие небрежной детали в одежде и прическе детей заставляло думать, что их мать либо запуталась во времени, либо находится в плену ложных иллюзий относительно нынешних канонов пристойности и добропорядочности; дальше этого подобные соображения не шли, так как все в детках было гармонично. Как бывает гармонично то, что уже навсегда ушло из жизни.

– Они словно оттуда... – заметил летчик, забыв, о чем он только что говорил.

– Вы правы, Петр Семенович, сейчас так за собой и за детьми не следят.

– Да, Ксения Всеславна, мы многое потеряли, перейдя к демократической форме одежды.

– И к единственному ребенку в семье.

Воцарилось молчание, в котором вопросы с обеих сторон, словно набухшие капли, вот-вот готовы были сорваться с уст.

– А у вас есть дети? – спросили одновременно и облегченно вздохнули.

– Сын, – сказала она. – В Англии, учится.

– Дочь, – ответил он. – Замужем, в Киеве.

О своих половинах ни слова. Точно их и не было на свете. Никогда? Что ж, будем считать, что никогда.

– И как он там?

– Нравится. И не нравится. Чванливые, ровней чужаков не считают.

– А в Киеве, как и у нас, если не обращать внимания на всяких горлопанов.

Оба смолкают и любят всем, что им подарил Господь...»

(Отрывок из романа «Неодинокый Попсуев»)

Лучшая подружка

В тот прелестный и жаркий июнь после небывалого половодья открылся как никогда рано пляжный сезон. Синоптики, рассчитывая на квартальную премию, грозили страшной засухой, и народ спешил понежиться под горячими лучами солнца, пока они не превратились в раскаленные клинки. Публика разоблачилась от сковывающих ее одежд и житейских проблем, выкатила на солнце свою рыхлую урбанистическую массу. Она ловила золотые лучи всей площадью белой до синевы кожи, заманивая их даже в прикрытые тканью укромные места. Лучи играли там, как котят, доводя граждан до экстаза. Люди дурели, пили квас и пропадали в кустах. Играли кто в поддавки, кто в дурака. Нравились, однако, воздушные процедуры всем.

Но вскоре наступила и обещанная жара. Земля раскалилась, растрескалась, гудела от напряжения, как вселенская ЛЭП. Воздух покрылся окисной пленкой зноя. Почернели руки, лица и тени.

Федор Иванович устроился на пляж разнорабочим. На весь сезон. Он еще в мае укатил в Волгоград, поручив соседу Рыбкину взимание по доверенности и переправку в Волгоград «мазепиной» зарплат. За хлопоты Рыбкину шли комиссионные на «два пузыря».

В Волгограде он не был уже сто лет. Старый домишко Лидиных родителей лежал на боку, ну да им с Машенькой места хватит! Он подбил, где надо, подкрасил, выкинул ненужный хлам. Соседские дома развалились, и некому было давать отчет, кто он такой и откуда. Были бы живы, может, и вспомнили маленькую востроносую девочку Лиду. Так вот, он был ей верным и любящим мужем. Впрочем, кому он был нужен в этом заброшенном углу! Благо, до пристани было не так далеко, где-то часа полтора ходу (с учетом Машиных ножек). Привыкшему ходить это пустяк. Разве что привыкшему к пустнякам – много. Спать, правда, приходилось в обрез, так как на остров надо было приехать на первом катере, а уехать, понятно, на последнем. Дел было невпроворот, но на что, спрашивается, долгий день и чем его занимать, как не работой? Не жариться же под солнцем, подобно прочим бездельникам? Можно было, не спеша, сделать все на два-три раза. Привыкшему работать и это пустяк.

На берегу было много погибшей рыбы и деревьев. Громадная белуга напоминала потерпевший кораблекрушение парусник, а громадные, как правило, раздвоенные стволы выброшенных на берег деревьев напоминали женские ноги. Что-то бесстыдное и одновременно очень естественное было в раскинувшихся стволах: там, где они сходились, в расщелине, покрытой бурым мхом, казалось, зарождалась сама жизнь. В эти дни, похоже, вся природа порождала природу: рыбы метали икру и после этого выбрасывались на берег; тополя и вербы метали тысячи тонких и гибких, словно созданных для соития, прутьиков и тут же с треском ломались и глухо бились о землю, уносились водой и предавались земле, топорю и огню; солнце сжигало землю, испаряло воду, и сгорало само. По берегу бродили коренастые и тяжелые, как цыгане, вороны, прыгали и летали с места на место прожорливые тонконогие чайки. В этот год им много было еды на берегу, и они все стали толстые до безобразия, даже с точки зрения людей.

Первое время внучке было непросто так резко сменить привычный образ своей детской жизни. Маша терпеливо боролась с недосыпом и отсыпалась потом на острове. Первые несколько дней ей было непривычно целый день находиться на воздухе, без своих нежинских подружек, с едой всухомятку, но через неделю она освоилась с новым местом и новым режимом и уже не представляла себе иной жизни.

– Неплохо было бы, деда, – сказала как-то она, – вообще перебраться на пляж и жить тут, а то ездить туда-обратно дорого. Да и времени столько терять!

– Не обнищаем, – засмеялся дед.

Конечно, было смешно, проезд-то ему был бесплатный, ну а с внучки кто билет спросит? «Времени столько терять!»

Маша часто смотрелась в зеркальце, потом подставляла его деду и спрашивала:

– Вот, глянь, правда же, мы похожи друг на друга?

– Правда, – соглашался дед. – Я похож на тебя. А почему ты спрашиваешь?

– Да бабушка все говорила, что я на нее похожа. А я больше на тебя обликом лица получилась!

Дед мрачнел и уходил куда-то по делам.

Гладкий песок еще не испоганенного людьми пляжа будоражил Машину душу своей чистотой, гладкостью, утренней прохладой и приятным журчанием под ногой. Она в упоении носилась по озерам, лужам и протокам, гоняя стремительные стайки мальков. Те извивались в воде, как тугие серые знамена. Притомившись, она подзывала к себе ворон и чаек, протягивая им кусок хлеба или печенье. Вороны недоверчиво, как-то сбоку, глядели на нее и так же боком подходили совсем близко, а пугливые чайки ждали, когда она сама направится к ним, но близко не подпускали, взлетали с криком, тут же опускались неподалеку и с интересом поглядывали на загорелую девочку-хохотушку. Тогда она протягивала им хлеб, и они, перемогая свой вековой страх перед человеком, подходили и брали еду из рук. Одна ворона даже позволяла легонько гладить ее, и девочка назвала ее Марфушей. У нее был интересный хохолок на голове, светлый, вроде как, и не вороний вовсе.

Марфуша то ли отбилась от стаи, то ли просто тянулась к человеку. Несколько дней назад на острове собралась громадная стая ворон. Они все разом орали, заглушая все звуки на свете. Так орут они обычно тихим морозным утром в последние дни зимы. Каждая ворона орала «да», а вместе получалось «нет». Совсем как у людей. Орала до тех пор, пока не гаркнул их барон: «Кончай базар!» Все вдруг заткнулись, помолчали, подумали, почистили клювы о песок и палки, потом, вновь заорав, разом взлетели и подались в другой конец острова. На несколько секунд показалось, что началось солнечное затмение. Марфуша и еще несколько ворон остались и кричали вслед стае что-то вроде «Придурки! Придурки!» или чуть мягче «Дуры! Дуры!»

Марфуша всеми днями кружила около Маши, приветствуя каждый шаг девочки. Когда девочка днем спала в тени краснотала, ворона тоже кемарила где-то в тени, но стоило Маше проснуться, ворона была тут как тут, с криком летала над ней и звала девочку к реке или, наоборот, вглубь острова. А может, и вверх с собой, только вот у Маши пока это не получалось. Маше стало казаться, что она начинает понимать не только поведение птицы, но и ее язык. Когда вороне хотелось просто полетать над бегущей по песку девочкой, она кричала «Кар-кар!», а когда ей было жарко, и она не прочь была спрятаться в тени, она переходила на утиный язык: «Кря-кря!» Когда же, по мнению Марфуши, девочке угрожала опасность, она раскати-сто кричала: «Кр-р! Кр-р!» Если Маша куда-то пряталась (специально или невзначай), ворона сходила с ума, металась над тем местом, где по ее разумению должна была находиться девочка и отчаянно звала: «А! А! А!» Да и ворона, что называется, с лету поняла Машин язык. Стоило Маше сказать: «Марфуша, вон там собака забрела на пляж», и ворона мчалась навстречу собаке и ругала ту, на чем свет стоит. Федор Иванович думать не думал, что вороны способны нянчиться с детьми. Такую помощницу бог послал!

Как-то раз ворона позвала Машу за собой. Девочка побежала следом. Марфуша привела ее к громадной вербе, уселась на ветку и беспокойно раскаркалась. Девочка глядела на нее. Ворона свесилась и, указывая куда-то вниз, кричала: «Там! Там!» Под деревом, в стороне, Маша увидела дохлую птицу. Это была ворона. Птицу, должно быть, кто-то убил камнем, у нее была разбита голова. Девочка подошла к ней и поглядела на Марфушу. Ворона слетела с ветки, на лету коснулась грудью труп своего сородича и молча улетела. В этот день Маша ее не видела.

На другой день Марфуша спала рядом с Машей. Ворона сидела возле девочки, ткнув голову, как гусь, под крыло. У нее это не получалось, и было забавно смотреть, как она старается засунуть голову себе под мышку.

Федор Иванович выбрал место тихое, хоть и далеко от причала, и самое чистое. Приходилось идти, погружаясь по щиколотки в песок, не меньше четверти часа.

Вроде как вдоль реки, но сушь кругом необычайная! Ни травы, ни деревьев. Песок один. Песок, песок, песок... Еще так трудно было идти, ноги увязали по щиколотки. И в то же время слышу, вода журчит, бежит... И все мимо меня!

И так получилось, что это же место приглянулось еще пяти-шести отдыхающим, и уже к середине июня все знали друг друга не только по именам, но и по фамилиям, и своим кружком играли в волейбол, перекидывались тарелкой, бултыхались гурьбой в воде. Там было обычно два-три юноши и столько же девушек, две-три устойчивые пары не самой худшей поры человеческого времени. Девчата были из педагогического, а ребята из медицинского.

– Педики энд медики! Медагоги энд педагоги! Вставайте на ноги! Айда купаться! – орал вдруг кто-нибудь из них, и все шестеро летели в упругую воду.

Вода от неожиданности взрывалась, и до неба, обдавая летящих чаек, взлетали вопли, брызги и свет.

– Подружка? – как-то спросил самый смешливый из компании у Маши, указывая на ворону.

– Лучшая! – ответила та и добавила: – Ее звать Марфуша.

Студенты стали называть Марфушу по имени и, протягивая печенье, манить, как курицу: «Цып-цып-цып!» Ворона игнорировала все их призывы и брезговала угощением. Только строго и загадочно глядела на всех.

– Гордая! – смеялись ребята и бросали ей угощение. Подумав с минуту, Марфуша ковыляла к печенье.

Беззаботный отдых не предполагает тягостных раздумий, поэтому все шло как нельзя лучше. Федор Иванович особо не уставал от своих забот, они сваливались разве что в выходные дни, когда народу прибывало в пять-десять раз больше. А среди недели это были одни и те же отдыхающие да еще залетные гости по командировочной или по актерской части. Раз два в неделю высаживались на остров пассажиры или туристы с проходящего теплохода. На отдыхающих по путевкам была какая-то своя тайна и круглая печать, которая означала «Строго конфиденциально». В свой круг отдыхающие с теплохода, естественно, никого не допускали и довольствовались малым, но своим.

Вот и на этот раз высадились бездельники с трехпалубного теплохода. Как нарочно, студентов в тот день не было. На их месте и расположилась разношерстая компания. Марфуша восприняла незваных гостей как потенциальную опасность и просигналила Маше: «Кр-р! Кр-р!» Девочка успокоила ее. Гости, естественно, тоже обратили внимание на Марфушу и, понятно, пытались приманить ее своими подачками. Ворона не шла, и они бросили эту затею.

Когда через пару часов купания, совмещенного с возлиянием, все направились к теплоходу, несколько человек задержались, остановившись в сторонке. Они глядели на ворону, и, казалось, спорили о чем-то. Поспорив, ударили по рукам. Слышно было, как они крикнули своим: «Сейчас! Минутку!»

Марфуша подковыляла к кучке оставленных объедков и стала рыться в них. Вдруг она вскрикнула, дернулась, взлетела на метр и тут же рухнула на землю, пронзительно вскрикнула, безуспешно пытаясь взлететь, и, издав жалобный человеческий стон, замолкла.

В группе зашумели, заорали, засмеялись, кто-то захлопал в ладоши, а одна девица кинулась целовать парня в синих шортах. Ноги у парня были белые и толстые. Маша подбежала к вороне. У той уже закатывались глаза. Из клюва торчала толстая леска. Марфуша проглотила что-то, наживленное на рыболовный крючок. Конец лески был закопан в землю и не позволил взлететь.

Девочка стала биться в истерике. Отдыхающие с теплохода умолкли, лишь парень в синих шортах хлопал себя по ляжкам, довольно смеялся и покрикивал:

– Я говорил! Я говорил! Гони, Кузя, ящик пива!

Дрейк почувствовал, как у него отнимаются ноги. Он, хромая, подошел к парню и «хуком» усадил его на песок. Хотел пнуть, но вместо этого плюнул на него и, страшно выругавшись, вернулся к Маше.

У девочки был остановившийся взгляд. Она не плакала больше, молчала, смотрела на неподвижную ворону. С трудом разогнувшись, Дрейк снова подошел к туристам и, глядя в песок, тихо произнес:

– Уматывайте! А то всех убью!

Те стали пятиться и быстро ретировались. Бесчувственного парня утащили под руки.

Марфушу похоронили под тем деревом, куда она водила Машу посмотреть на убитую людьми ворону. Дед выкопал ямку, Маша положила Марфушу в свою панамку, поцеловала ее и опустила в ямку.

– Спи спокойно, Марфуша, – сказала она. – Я тебя никогда не забуду. Никогда!

Дрейк засыпал ямку и пошел выпить с рыбачившим на острове приятелем. Машу взял с собой. Она послушно поплелась за ним, как совсем еще недавно ходила и летала за Машей Марфуша. У деда не было сил вести девочку за руку. С большим трудом он преодолел песчаную пустыню острова и там, вдали от людей, хмуро чокнувшись с приятелем, выпил полный стакан теплой водки.

(Глава 19 из романа «Солнце слепых»)

А где-то там, за горизонтом, едет машина с сыном

На следующую осень Наталье довелось еще раз побывать у бабушки Марфы. Вместе с отцом они прилетели на пару деньков отметить ее восьмидесятилетие. Наталье не хотелось ехать в такую даль на пару дней, уж лучше приехать на зимние каникулы – говорила она, но отец сказал, что до зимы еще дожить надо и зимой оказия может не подвернуться, бери то, что дают. Да и бабушка последнее время сильно хворала.

Была пора солнечного золотого сентября, обычно лучшего времени года в тех краях. Дорога от Сургута до села была бы прелестна, если бы и в этом году было как прежде, если бы не прошли затяжные дожди. В выбоинах на дороге и в колеях по обе стороны стояли лужи, похожие на кофе с молоком. Хорошо, после долгих ненастных дней наступило наконец тепло, необыкновенно прозрачный воздух, как бы светящийся изнутри, заполнил пространство между небом и землей, и окрестности горели на солнце, как лаковая миниатюра. Свежий ветерок немного просушил дорогу, но машину все равно то и дело заносило юзом. «Газик» укачивал Наталью, укачивал отца, их одолевала дремота, но и не отпускало смутное беспокойство о здоровье бабы Марфы; отец, закрыв глаза, стал листать в памяти, как в старой книге, картинки своего детства, а Наталья стала думать о своем черном Рыцаре, родом из этих глухих мест. Словом, дорога настроила их обоих на элегичный лад. Обоим казалось, что они едут не в военном «Газике» по мокрому и скользкому шоссе, а несет их невидимое судно на воздушной подушке по узенькой мягкой тропке, усыпанной старой хвоей, по невидимой грани меж двух времен, между прошлым и будущим, и отведи только рукой желтую листву – там сломя голову летит куда-то вдаль босоное отчаянное детство, и одинокий Рыцарь стоит на кособоре и смотрит в неоглядные дали, и горят на солнце золотые его доспехи... Вовсе они не черные.

В деревне возле бабушкиного дома стояли люди и тихо разговаривали. Бабушка умерла день назад, и телеграмма опоздала к отъезду.

Отец в траурные дни был мрачен, молчал и казался одиноким, хотя Наталья от него не отходила. Она удивилась, когда заметила, что отец как-то чуждается ее и все норовит остаться один. А под утро проснулась от глухого собачьего лая и спросонья никак не могла понять, откуда взялась собака, а потом ее как током пронзило – это же рыдает, уткнувшись в подушку, папа. «Неужели он свою маму любит больше, чем я свою?» – ужаснулась она. Невдомек ей было, что рыдания отца уносились в бездну и из бездны, усиленные, возвращались, не понять было Наталье тогда, что отец теперь занял место бабушки на самом краю пропасти, где рано или поздно окажется и она сама.

Соседская девочка Нина рассказала Наташе, что два дня назад баба Марфа была совсем здоровой и вот взяла и умерла. А два дня назад старуха вязала у окна носок. Не себе – людям. Людям носок свяжешь – они тебе потом, может, хоть саван соткут. Да и не греют старость носки, когда в ней таятся восемьдесят зим.

В доме было тихо, сухо, но холодно. В углу большой комнаты стояли друг на друге липкие рамки от ульев и сепаратор, накрытый брезентом. На грубо сколоченном столе, протянувшемся от стены до стены, сушилась крапива. А в прошлую осень за ним гуляли свадьбу внука: на нем пили, под ним спали – три дня!.. Пахло и медом, и крапивой, и сладковатый привкус першил горло.

Старуха то и дело глядела в окно и вздыхала. Меж стекол в прозрачном тепле звенели мухи. Для них между рамами было все еще лето, и низкое солнце прогревало его квадрат насквозь. За окном в марле паутины болтался паук, и мухи как будто рвались к нему, душегубу, елозя по грязному стеклу и отбивая звонкую дрожь. Ишь, танцульки устроили!

За раскисшей, размазанной дорогой съезжился и поседел за ночь луг, а за лугом возвышался холм с рыжей щетиной голых березовых и осиновых ветвей. В редкие быстрые просветы меж осенних облаков проникали солнечные лучи, и в них сверкали белыми молниями стволы берез и вспыхивала антрацитом черная грязь на дороге, по которой бродили свиньи и гуси. Гусей скоро начнут откармливать зерном – они станут обжираться, радуясь, что настала сытая жизнь, и самые жадные вперед пойдут под топор. Вскрикнет гусь, стукнет топор, и тихо-тихо... Окончится сытая жизнь одних. Начнется сытая жизнь других.

От звенящих мух в пустом доме тоскливо и зябко. Не спасают ни шерстяные чулки, ни платок, ни теплая кофта. Изнутри зябко. Сама по себе эта пустота в доме – ничто. Но когда ее заполняют мухи, одни только мухи, – она становится размером с этот дом. И не хватает воздуха, трудно дышать, и тоска давит грудь.

Старуха включила транзистор. Приемник загремел. Она убавила звук до отказа – транзистор все гремел. Сухо щелкнул рычажок. Гром растаял в черном чреве приемника, и снова в голове этот зудящий звон. И где-то вне его – сидит она у окна, вяжет носок, сипло дышит и думает что-то, глядя на серый крест рамы. Но что? Не слышать мыслей. Может, то они и есть – мерный звон в ушах. Кто прожил восемьдесят лет, тому не грех подумать перед крестом окна, за которым вся жизнь. Вот только о чем они, эти думы, когда нет для них нигде пристани? О чем они, когда позади столько лет, а впереди осенний день, который надо занять вязанием, едой, беседой с соседкой, дорогой в магазин, растопкой печи... А сил нет никаких ни на что, о, господи, господи...

Предстоящий день ничем не дополнит те восемьдесят лет, а прожитые годы не отнимут от сегодняшнего дня ничего, так как отняли у него, кажется, все. А когда-нибудь, может, завтра, скажут лишь кратко: «Долго жила!» – и слова эти для нее уже не будут ничего значить, хотя и скажут их о ней.

Старуха попыталась представить себе этот день, когда ее вдруг не станет, и – не смогла. Право, странно представлять себя, когда тебя уже нет. Над селом опять мокрая паутина дождя, в которой, кажется, запутался весь мир, крутые бока холмов полны жизни, как бедра тридцатилетней молодки, дорога переваливается с бока на бок, как живая, а ты – одна, лежишь одна, от всего этого на отшибе, и что самое странное – видишь, как лежишь. А раз видишь – значит, ты есть. Как же нет, когда есть. Оттого и странно, что, оказывается, нет на свете силы сильнее тебя. Вот только куда эти силы подевались?

Однако все перемешалось. Прежде-то, коль вечерняя заря догорает – в утро ведро, хорошо. Утренняя догорает – к непогоде. А сейчас и вечер горит, и утро горит, и сам бес не разберет, чего будет на улке через час. А чего будет – то и будет! Интересно, когда жизнь догорает – к какой это погоде? Скоро полвека одна! Муж-то как с германской вернулся, еще пяток лет повоевал со своими же мужиками, так и помер в двадцать шестом. И за всю семейную жизнь десятка ночей не собрать, когда нужны были только друг другу и не думали больше ни о ком и ни о чем. Увидел бы он сейчас старуху такую, что бы сказал? Эх, не отколь ему глядеть. Да и что углядишь через столько лет? Может, и не узнал бы...

Сдавило грудь. Старуха потихоньку вышла на крыльцо. Так и есть. Под ворота подлезли соседские гуси и переваливаются по огороду. Вот змеи! Прогнав их, она запыхалась, вышла на дорогу и долго глядела в край села. Оттуда доносилось сорочье стрекотание и железный лязг лопат – копали картошку. Тянуло то навозом и парным молоком, то прохладной тиной. Грязь жирно чернела на дороге. Прогнали на выпас стадо. Оно тепло обтекло старуху с обеих сторон, и она впервые уловила в звуке бегущих овечьих ног сходство с крупными каплями летнего дождя. Эх, дожить бы! До этой весны такая крепкая была. С батогом ходить было стыдно. А теперь вот и не стыдно. Годы навалились на нее этой весной, как мартовские волки на загнанную кобылу. Вроде бы и вырвалась – а дышу уже нет. Хрип один. Дробь овечьего дождя угасла, и чистый воздух кромсали длинные голоса овечек и ягнят. Бараны молчали.

Коровы шли степенно, как старушки в церковь. Впереди стада шла черная корова – опять быть плохой погоде. Бугай остановился у плетня и стал подрывать его копытом.

– Не пройдет тут машина. Не приедут, – вздохнула старуха и зашла во двор. Уж какой день она ждала и выходила встречать сына с внучкой. Обещал приехать на юбилей. Да и без обещания приехал бы, он всегда приезжал, когда ей становилось плохо. Чувствует, видно...

Растопила печку, вскипятила чай, согрелась, взяла батожок, сумку и пошла через балку до магазина за хлебом. С некоторых пор эта дорога пугала ее своей страшной длиной, будто вела не в край села, а на край света.

Возле продовольственного магазина тосковал пьяный Алексей, бывший ветеринар и фронтовик. Он приветствовал старуху, блеснул железными зубами, дохнул сложным запахом одеколонно-лукового перегара и пристал тут же с двадцатипятилетней, набившей всем оскомину, исповедью.

– Я, Марфа, Алеша-фронтовик. Проходимец всей Европы. Чтоб ей и в хвост, и в гриву! Пехотинец. Артиллерист. Рука хирурга. Глаз снайпера. Душа моряка. Морская пехота! Поняла, нет? Я все знаю. Все! Пушку знаю. Миномет знаю. Пулемет знаю. Станок для случки знаю. Космический корабль? Тоже знаю. Поставлю, р-раз – и готово! Дома или чего еще – нет! Меня все фашисты боялись от Карпат до Берлина. Главное – прицел вот так, и р-раз – готово!

Далее он перечислил старухе все европейские государства, которые прошел пешком, причислил к ним зачем-то и Абиссинию, и еще раза три повторил, что он все может и главное в любом деле – прицел. Старуха терпеливо слушала. У нее не было сил ни уйти, ни сказать ему хоть что-нибудь. Ей бы лечь прямо тут, у желтой стены в подтеках, накрыться чем-нибудь теплым, закрыть глаза и забыться. А Алексей – пусть, пусть говорит себе, ему надо излить свою не изливаемую душу. Ведь журчит ручей всю жизнь, и никому от этого не бывает плохо. Ободренный вниманием, Алексей продолжал:

– И дети все у меня такие. Конечно, не академики, не большие люди – инженеры там или полковники, но все пятеро работают по специальности. Первый – шофер. Другой – шофер. Третий – шофер. Четвертый – нет, не шофер. Редкая специальность – белошвей. А дочка в «Лебедином озере», в райцентре, эту самую – одетую – пляшет.

Старуха кашлянула и поворотилась идти, но Алексей не отпускаял:

– А вот сам я – пастух. Трехгодичную ветеринарную школу за три месяца сдал, и главное – прицел. Прицел хорош – зарплата тож. 170-180. Редко 137. Да ты у Аньки моей спроси. Я ж ей в пятьдесят девятом такие сапоги отвалил – почище хрома будут! Спасибо Гитлеру – из лаптей в сапоги обул. С тех пор сам не вылажу из них.

– Побойся бога, Алексей! – сказала старуха. – Что говоришь-то! Уж лучше б те ноги в лаптях да живые были, чем мертвые да в сапогах. Что ты!

«Проходимец Европы» обиделся, что его не поняли, махнул рукой и пошел за угол, а Марфа зашла в продмаг.

– На водку-то денег нет, – указала продавщица на Алексея, который маячил в окне, – так тянет из меня на перцовку. Я уж ее припрятала. Анька-то строго-настрого приказала не отпускать ему алкоголь. А он, паразит, у Глашки пузырек тройного купил за 99 и выхлестал тут же. Ну что ты будешь делать! Теперь про Берлин да про Гитлера брешет. Добрешется. А от самого разит, как от мистера Икса... Ну, а твои-то приехали? – спросила она, подавая хлеб.

– Да нет. Грязь. Поди, развезло дорогу, – ответила старуха.

– А ты к ним что же не едешь? Зима скоро. Собиралась ведь.

– Да ить тяжело уже. Тяжело и ехать к ним, и жить у них. Внуки выросли. А я зачем им? Сноха-то советует дом продать и к ним переехать. А я не решаюсь. Дом продам, а она меня выгонит. Ой, Зин, присяду я, что-то моченьки моей нет. Вот та-ак... Минутку посижу. Да, выгонит, выгонит. Уж шибко она серьезная. Городская – чего ты хочешь? Сын Николай говорит: «Помрешь, тогда и продадим дом сами, а пока живи». А мне оно так и спокойней.

– Ну, а Федор как живет? Что-то давно его не видела.

– Федор-то? Да хорошо живет. Хорошо. Чего ему плохо-то жить? Мед у него в этом году славный. Надо сказать ему, чтоб пришел, коробки забрал свои, а то валяются с июня. В том месяце обошелся без них. Запасся, наверное. Дочки вот жалко нет у меня. Пол уж очень мыть тяжело. Нагнуться нагнись, а вот разогнуться тяжело.

– Да, с дочкой-то может и жила бы.

– Все может быть, – сказала старуха, кряхтя, поднялась и ушла.

Всю дорогу она думала про то, что вот ежели бы фронтовик Алексей был ее сыном, он не пил бы так шибко. Зачем ему было бы тогда пить, зачем обижать мать? Ведь пьют, когда не хватает ласки. И чем более не хватает, тем более пьют. А когда хватает ласки, пить – грех. Хотя... Федору вон никакая ласка отродясь не нужна была. Всю жизнь бирюком прожил. На что только семью заводил?

Когда она спустилась в балку и стала подниматься по склону, а ноги не слушались и разъезжались, она так заторопилась, что едва не задохнулась. Ей все казалось, что возле дома стоит машина или, в крайнем случае, она сползает с пригорка прямо к воротам. Нет, уже должна стоять. Поди, заждались ее, серчают.

Машины не было.

Потускневшими глазами старуха долго глядела на одинокий вековой клен, торчащий на пригорке, заправила волосы под косынку, согнулась и поковыляла к огромному пустому дому.

Возле калитки пятилетняя Нинка, дочь соседки, которой Марфа вязала носки, залезла в лужу и утопила в ней сапожок.

– Я грязная! – радостно сообщила она старухе.

Та зайкала, вывела девчонку из лужи и потащила к себе.

– Тебя ж мамка прибьет. Вот увидит, какая ты чумахая, и прибьет.

Она усадила девочку возле печки, дала ей конфет и стала мыть сапоги.

– Ай-я-яй, ты погляди, а? Ты же насквозь их промочила. И правый, и левый, а?

Нинка долго сверлила бабушку глазенками и мотала ногами. Наконец, склонив голову набок, лукаво спросила:

– Баба Марфа, а, баба Марфа. А правда, ты ведьма?

– Вот те раз! – опешила старуха.

– Да. Ты все время одна, и у тебя дом ночами гудит. Почему он у тебя гудит?

– Да с чего ты взяла, что гудит?

– Сама слышала. Выгляну ночью в окошко, а дом твой такой черный-черный, чернее ночи. А окна так и вовсе черные, и так страшно-страшно. Нет ни огонька, ни собаки, ни коровы, ни уток, никого нет. И так – фу-у-у! фу-у-у!

– Это ветер, Ниночка, – погладила старуха девочку.

– Ветер?

– Ветер, ветер. А что пустой двор – так мне и с таким не справиться. Где уж мне скотину держать. Отдержалась. А скотины нет – я и ложусь рано, и встаю поздно, вот и нет огонька. Да и зачем мне свет? Читать не читаю, глаза болят, не видят ничего. Да и чего читать? О моей жизни ничего не пишут.

– А что ты одна живешь? Наша бабушка с нами живет.

– А это уж как кому на роду написано.

– А у меня на роду что написано?

– У тебя написано: жить тебе, Ниночка, в тепле да среди своих.

– А я за Ваську замуж пойду. И будет у нас трактор и пять детей. Вот сколько пальчиков. Это уже решено. Он мужик хозяйский – сам лисопед починил. Вот только школу закончим и сразу – замуж. Он за меня, а я за него. Друг за друга замуж поженимся.

– До этого еще далеко, – засмеялась старуха. И вдруг поняла, что этот смех у нее, видать, последний. На другой уже и сил не хватит. Слава Богу, светлый вышел этот последний ее смех.

Ушла Нинка. Как не была. Даже голоса ее не осталось.

Все, что было, – того уж нет; а все, что есть, – того не будет. И если было уже все, то не будет больше ничего. Все так просто.

Вечер настал. Мухи притихли. Растворились ворота ночи, и лег перед глазами черный необъятный луг. И колыхнется на нем черная летняя трава, и где-то там, за горизонтом, едет машина с сыном. И тихо так, тихо...

...И приснился Наташе сон, будто бы на закате солнца баба Марфа повязала белую косынку, перекрестилась, поклонилась образам, взяла за руки, как маленьких детей, ее и отца и повела куда-то в край деревни, а края этого и в помине нет. Долго шли они вдоль бесконечной белой стены, пока не оказались перед одинокой дверью. Возле нее бабушка перекрестила папу, поцеловала его в лоб, и тот исчез за бесшумной дверью. Дальше они шли высоким берегом реки, глухим бором, гулким подземельем, и когда вышли на мерцающий лунный свет, появился вдруг Рыцарь, и бабушка вложила руку Натальи в его руку и растаяла в темноте туннеля. Навсегда.

(Глава 30 из романа «Мурлов, или Преодоление отсутствия»)

Твори, Бог, волю свою!

По своему обыкновению, по регламенту, Николай Павлович в перерыве меж напряженных раздумий и венчающих их трудов (занимающих ежедневно едва ли не восемнадцать часов) прогуливался. Не спеша он шел обычным своим маршрутом. Ничто и никто ему в этом не препятствовал, и ритм его широкого шага и не менее широких мыслей был ровный и выверенный – от первого шага до последнего, от интуитивной искорки, невнятного слова до умозрительной глобальной системы. В эти минуты царь вдруг очень ясно осознавал колоссальную ответственность за всё и отдавал себе отчет, что он единственный, кто с этой ответственностью справится. «Твори, Бог, волю свою!» – умилялся он таким простым и таким высоким словам. Прогулка, разумеется, была неотъемлемой частью режима, так как во время ее мысли и замыслы и приобретали необычайную ясность и стройность, лишний раз свидетельствующие об их божественном происхождении.

Иногда он по наитию сворачивал в одну из потайных дверей, проходил в соседнее помещение и там, стоя за колонной, в нише или за глухой портьерой, слушал, о чем судачат подданные. Эта привычка образовалась у него с той злосчастной зимы на стыке первой и второй четвертей этого века. «В стыке – всегда слабость, самое ненадежное место. Особенно если стык из разнородных металлов», – подумал он. Первая четверть представлялась ему хоть и золотой, но мягкой до неприличия, а вторая, слава Господу, отлита из хорошего железа, не хуже, чем первая четверть века прошлого. Окажись в этот момент напротив Николая Павловича трехметровое зеркало, оно с трудом вместило бы в себя величественную гигантскую фигуру царя. Да и Бог его знает – не встретился ли в зеркале тяжелый взгляд Николая с пронзительным взглядом Петра? Он нагнулся и посмотрелся в маленькое круглое зеркальце, которое любит передразнивать придворных дам. Царь сделал себе рожу и прислушался к болтовне. Подданные говорили, разумеется, о нем. О ком же им еще говорить? «О Боге, во всяком случае, говорят в храме», – сделал мысленную оговорку Николай Павлович. О чем говорят, как говорят и что имеют в виду, когда говорят – всё это он давно уже выучил наизусть. Но всё равно нет-нет да и услышишь что-нибудь любопытное. Говорили всегда исключительно в положительном смысле, ибо хорошо знали, что никакую тайну нельзя поверять даже ямке на пустыре. Находились, понятно, остреды, которые рисковали осуждать его дела. Нет-нет, не внешность, разумеется, не облик, не манеры – император усмехнулся, опять погляделся в зеркальце и сделал рожу вторично, – но осуждали в самых деликатных выражениях и с пиететом, и соотнося его образ не иначе как с богами, героями и царями священного писания и греческих мифов. Осуждали в том смысле, который допускал возможность диаметрально противоположной трактовки, более сильной, чем первоначальная. Николай Павлович был доволен: при дворе уже было пять-семь непревзойденных мастеров слова, которые могли стяжать славу Российскому императорскому дому в любом уголке Европы. «Пора, пожалуй, учредить особый Кабинет острословов. Назову кабинет...назову его...пожалуй, так и назову». Болтовня была обо всем. Значит, ни о чем. Послушав мелкотравчатые рассуждения своих детей, царь обычно неслышно удалялся, взлетая мыслями туда, куда не дано было взлетать другим, где вечно находился отрешенный его дух. «Удивительно, как смог этот низкорослый гвардейский офицер увидеть – под собой – Казбек как грань алмаза?»

Вдруг до слуха его...под собой? ! хм...донеслось невнятное: «...Нелепо...да-да... Нелепо...»

«Что такое!» – нахмурил брови царь. Он кашлянул, и тугой звук, как гимнастический мяч, а еще вернее ядро, улетел за портьеру. Там он попал в цель, и голоса только два раза произнесли «Ой!» Подданные склонились в приветствии, и в них появилось что-то змеиное,

неуловимое и столь же опасное. «Любопытно... весьма любопытно, – подумал Николай Павлович. – У моих детей...»

– А-а, это вы, мои друзья! – произнес он, и густой его голос, казалось, согнул его друзей совсем уж в неприличную дугу. – Продолжайте, вы мне не мешаете. О чем, позвольте полюбопытствовать, речь? О дамах или о турках? Кхм!

Царь застыл в раздумье. «Что же тогда мне они ответили?» Он не мог вспомнить. Потер себе виски – они были горячие. Он взглянул в неизменное, еще со времен бабки-матушки зеркальце и не понравился сам себе. В глазах своих он вдруг увидел растерянность, которая давно уже поселилась в его душе, но которую он усилием своей железной воли сдерживал внутри, пока был здоров. В раздражении швырнул зеркало на столик. Зеркало разбилось. Царь нахмурился. Он, конечно, не был столь суеверен, как вся его многочисленная родня, но эта примета совпадала с общим настроением его мыслей и состоянием здоровья в последние два дня. «Надо же, все вокруг, как сговорились, и разом стали чихать и кашлять. Инфлюэнца... Грипп, хм... Сколько лет-то прошло? Пять-семь? Как же так, забыл? Да их словно и не было, этих лет».

В голове шумело, и ясных мыслей не было и следа. Каша какая-то! Он в раздражении шагнул к потайной двери, чтобы сделать выговор всё равно кому, кто находится ненароком там. Но комната была пуста. Именно в эти последние пять-семь лет он всё реже заставлял кого-либо там, нарочно дожидаящихся его. Царь подавил раздражение и сел на диванчик, которым пренебрегал всю жизнь. «Мягко и удобно», – подумал он и тут же встал с располагающего к сибаритству ложа и направился в свой кабинет. И вдруг он понял, что кабинет не приемлет его такого. «Какого?» – задал он себе вопрос. Ответ был беспощадный: слабого, растерянного, больного. Таким его не знали родные, таким его не знали при дворе, таким он не знал самого себя. Он для всех был образцом мужественности и собранности, для всех он был рыцарь. Когда на Сенной площади он один въехал в толпу, взволнованную эпидемией холеры, только что разгромившую больницу, убившую докторов, неистово кричащую бог весть что и готовую на всё, что только может русская толпа, когда он, устыдив всех в малодушии и отступничестве от Бога, воскликнул: «На колени, и просите у Всемогущего прощения» – и тут же сам опустился на колени, вся площадь замерла и все как один тоже опустились на колени.

– Да кого вы добиваетесь, кого вы хотите, меня ли? – гремел над площадью его воистину божеский глас. – Я никого не страшусь, вот я!

В эти мгновения Николай видел себя соразмерным всей необъятной и могущественной (самой могущественной из всех когда-либо существовавших на земле) империи.

После этих слов вся площадь рыдала и кричала «ура». «Рим также лежал бы у моих ног», – подумал он тогда. «Хотя что Рим, – подумал он сейчас, – так, тьфу. Нет, я никогда ничего не боялся, так как меня во всех моих делах направлял Господь. А ведь это я сказал Пушкину про бунт. Откуда ему было знать? И что же, теперь я боюсь ее?... Плаксив стал как баба! И что же, теперь я боюсь инфлюэнцы? Или, как модно сейчас, гриппа?»

Вдруг ему показалось, что истинный смысл этого слова заключается в коротком, но таком же губительном для него (губительном?) слове «Крым». «Когда же я дал слабинку?» – думал он, потирая лоб. Ему показалось, что он стал еще горячее. Во рту пересохло, а тело сковала страшная слабость и ломота. «Да-да, недели две назад, когда вдруг все вздумали болеть. Инфлюэнца... Грипп... Крым... Мандт рекомендует лежать. Он всем рекомендует лежать... Но что-то жестковато стало мое ложе. О Господи, прости грехи наши! Надо же, каких-то шестьдесят тысяч иноземцев в Крыму свалили Россию. Свалили? Что я говорю! Как я смею так думать? ! Полежишь тут!» Император встал и пошатнулся. Постоял с минуту, приходя в себя. Затем безотчетно проследовал в один зал, другой... Ему казалось, что он тащит на себе весь груз прошлого, всю Россию. Куда?

В полумраке зала он вдруг увидел странную фигуру. Нелепый старичок, сутулый, кожа да кости, с растрепанными седыми волосенками, изможденным лицом, изрезанным морщи-

нами, в одном нижнем белье, стремительно вприпрыжку, припадая на ногу (она была в туфле, а вторая в сапоге), пересек по диагонали залу, подбежал к нему, резко воскликнул что-то, что – Николай Павлович не понял, но что-то ужасно обидное, очень ехидно хихикнул, блеснул бесцветными глазами, подмигнул нагло и в мгновение ока очутился возле противоположных дверей, там раскланялся со своим отражением в зеркале, шарахнулся от него, кукарекнул, пропел что-то густым басом, подпрыгнул козликом и исчез.

«Почему он без мундира?» – думал царь, с досадой почему-то на самого себя. Этого старика царь определенно знал, но не мог вспомнить, кто таков. «Что за скоморох? Откуда взялся в дворце? Точно с портрета сошел. Глаза горят, как у разбойника. Горят, как у... Суворова», – опешил государь и лишился последних сил. И тут же ему ударило в голову – слова, которые вылетели из уст полководца и, казалось, еще не совсем растаяли в полумраке залы, были: «Просрали Россию, Ваше Величество! Просрали!»

Спустя несколько дней он уже почти машинально повторял по всякому поводу: «Твори, Бог, волю твою!»

– Как там Михаил и Николай? – спрашивал он и понимал, что хотя он и по-настоящему озабочен, как они там, в Крыму, по большому счету его интересует, как там вообще в Крыму. Тоже грипп? Он только никому не хотел в этом признаться, даже самому себе, на пороге, на пороге...

– Горчаков... – сказал он.

– Что Горчаков, Ваше Величество?

– Нет, ничего... Севастополь... Австрия... Бог с ней, с Австрией. Ее уж, почитай, нет. Бессарабию, Новороссию... до Днепра, не дальше! отдайте, но Крым и Севастополь, слышите, Крым и Севастополь – не смейте!

– Он в бреду, – услышал царь.

– Кто в бреду? – ясным голосом спросил он. – Это вы, доктор, в бреду! – он осекся.

Он вдруг едва не сказал: «Рухнет всё – рухнет всё!» Также отчетливо, как Суворова в зале, хотя и в полумраке сознания, он увидел себя, огромного, величественного, возвышающегося над Россией, и почувствовал, как последние силы покидают его, как он падает на нее, валится... Он с ужасом видел, как земля из-под него разбегается, буквально прыскает во все стороны, и всё шире и глубже под ним разрастается черный овраг... Император взметнул последним усилием воли не слушающуюся его руку, сверкнул грозно глазами в последний раз и с прозрачной мыслью: «Небеса рано или поздно всё равно падают на землю» – и тут же: «Когда власть направлена только на то, чтобы удержать, она ничего не удержит» – очень четко произнес:

– Держи всё – держи всё!

Как когда-то в молодости, он вышел в город один. Широкой грудью глубоко вдохнул свежий воздух, почти весело огляделся. Город лежал пред ним ниц, дворец, площадь, даже Александрийский столп. Город замер и не дышал. Тишина была страшная. Не было даже западного ветра. Сегодня-то царь был уверен, что никто из подданных не прячется за колоннами или под деревьями, охраняя его жизнь, честь и достоинство. «Чудаки, – холодно улыбнулся Николай Павлович, – они полагают, что я сам не смогу постоять за себя. Я – наместник Бога, властитель всей этой земли. Я – не смогу, а они смогут?!» Николай Павлович почувствовал, как гримаса гнева искажает его лицо, но справился с мелкими чувствами. «Вот он, мой город, столица моей империи. Моя земля гудит и дрожит под моим шагом. Даже он, этот истукан, мой. Здесь всё подвластно мне!» Рукой прикоснулся к груди и понял, что дрожит сам. Вновь ощутил досаду. «Красуйся, град Петров...» – прошептал чужие строки. Провел рукой по решетке, от холода ее заныли зубы. Дрожь не унималась. Она как бы вливалась в него извне, и то ли питала его досаду, то ли сама досада рождала дрожь. «Неужто я негодую? – подивился император. – На что? На кого? “Добро, строитель чудотворный! – шепнул он, злобно задрожав...”»

Он не решился идти к истукану и от того пришел в отчаяние. «От чего? От ледяного гранита и бронзы? Куска скалы и отливки? Или в них живет дух? Чей?.. – никогда еще он не задавал себе таких вопросов. – Как же это я раньше не видел сходства “Каменного гостя” с “Медным всадником”? Ведь там один и тот же мотив. Истукан является к человеку. И – побеждает его? Ну, Пушкин, ты не просто сукин сын, ты...»

Но что это? Громче, громче, громче! Гром копыт висел между небом и мостовой. «Этого не может быть, ведь лежит снег». Площадь гремела, как барабан перед оглашением приговора.

– Изволь, я жду тебя! Иди ко мне! – крикнул он громко и властно, как тогда на Сенной. Голос его заглушил медь копыт. – Вот тебе моя рука! Вот она...

Всадник Медный поравнялся с ним, протянул ему руку, и он – он! – что есть сил, рванул истукана с коня, но тот удержался, вздернул его перед собой, и медный конь, кроша мостовую как лед, сгинул с двумя всадниками во тьме...

Александр Николаевич, чувствуя, как холодеет рука отца, с трудом сдерживал себя от рыданий. Через несколько часов наследник записал в своем дневнике: «В1/4 1-го всё кончено. Последние ужасные мучения».

После этого он достал из тайника, о котором знал теперь только он один, книгу-дневник, а вернее, исповедь династии Романовых. Каждому году царствования любого Романова была отведена ровно одна страница. И каждая страница дорогого стоила. Кровью писавшего запеклась на ней жизнь империи. Любой политик или историк отдал бы за нее душу дьяволу. Иногда на одной странице последние слова выводил один самодержец, а спустя интервал начинал писать другой царь или регент. Записи велись лишь на одной стороне листа, и некоторые листы были не замаранные, абсолютно чистые. Разложив книгу на столе, Александр перелистал страницу за страницей почти до конца, поражаясь наивности одних записей и мудрости других, и в начале двести сорок третьей страницы слово в слово повторил свою запись из дневника.

Александр перевернул один лист назад. Последними словами отца, датированными 5 февраля, были: «Как я заблуждался! Как я во всем заблуждался! Твори, Бог, волю твою!»

В чем, в чем папа заблуждался? Во всем?

«Пушкин не только любитель легких ножек. “Еще ли росс больной, расслабленный колосс?” Я был уверен, что довершил создание восьмого чуда света – Российской империи. Но неужели этот Родосский колосс оказался колоссом на глиняных ногах? От девяти Секретных комитетов по крестьянскому делу один пшик. Крестьян нельзя не отпускать, но их нельзя и отпустить. Они разбегутся во все стороны как тараканы и растащат Россию. Кто соберет ее потом воедино? Эту махину? Александр? Восстанет ли Россия после того, как разрушится? Все империи разрушались один лишь раз. В прошлом, да. А в грядущем?»

«Увы, незабвенный Папа сам не знал, как поступить, – подумал Александр. – Но он прав: не освободить крестьян, они освободят себя сами. Освободить, они разбегутся, оставив крепостные стены без защиты. И кто тогда защитит крепость? И надо не забывать, что Россия – это махина, которую, не дай Бог, опрокинуть на полном ходу».

Наследник посмотрел в конец книги – осталась шестьдесят одна страница. «Странно», подумал Александр и вдруг вспомнил цыганку, гадавшую ему. «Сперва разгадай, что хочет твой отец», – загадала она тогда. Перед глазами его стояло лицо отца, в последние месяцы с трудом скрывающее огромное душевное беспокойство. Скорее всего, его мучил еще и этот вопрос: почему так мало осталось страниц нашей династии?

«Я приведу мой народ к благоденствию и славе». Из окна был виден в сине-белом мундире город, подвластный теперь его воле, лежащий пред ним ниц...

Александр Николаевич с чувством умиления и скорби тихо закрыл книгу.

(Глава ILIV из романа «Архив»)

Галера шла вдоль берега

Галера шла вдоль берега.

Кормчий махнул рукой барабанщику, тот несколько раз от души ударил по барабану. Затем кормчий приказал всем построиться на борту. Прикованных к лавкам расковали. Мы с наслаждением потирали руки и гладили ноги, сгибались и прогибались. Какое-то время кормчий холодно глядел на нас, а потом гаркнул, без усилия заглушив все звуки моря и люда:

– Внимание! Высаживаемся здесь, вот в этом местечке Пирей. Выше Афин. Ровно на сутки! Внимание! Всем. Повторяю, всем! Все должны неукоснительно соблюдать следующее. Первое. Сейчас утро. Видите, где солнце? Завтра, когда мы все выстроимся здесь, оно должно быть на том же самом месте, ни секундой выше. Второе. В Афины не ходить! На берегу есть все: вино, мясо, оливки, женщины, песок, чтоб полежать. Всем хватит! Еще и останется, ха-ха. Третье. Если кто-нибудь спросит у вас о чем-либо, избави вас бог (любой, хоть Зевс), избави вас бог сказать ему хоть слово! Особенно женщине! Тут же увидят, что вы чужеземец, и без лишней болтовни прирежут, как пирата, либо заберут в рабство, давить виноград или пасти коз. Вот ему хорошо, – кормчий ткнул в меня пальцем. – И четвертое. Если кто вздумает убежать, смотри третье. Уверяю, подумать есть о чем. Средний возраст рабов здесь – 27 лет. Есть кто старше? Почти все. Вот и отлично. Пошли! Рыцарь, задержись на минутку. Заданьице для тебя, – кормчий пытливо глядел на меня, – от графа Горенштейна. По контрактику. Напоминать не надо? Так вот, тут можешь получить оплату, в качестве аванса. В тугриках, ха-ха. Сейчас, как все разойдутся по притонам, тебе надо будет пройти вон той тропкой на центральную площадь Афин. Не беспокойся, тебя не увидят и с тобой не заговорят. Кроме того, кому надо заговорить. Валяй, приятель!

Бог лени, одурев от жары, задержался на площади. У него порвался ремень на правой сандали. На площади были одни только камни и не было ни одной тени. «Какое унылое место! – подумал бог лени. – И кто тут только живет? Зачем я отпустил колесницу? Плетись теперь пешком».

Впрочем, площадь была не абсолютно пустынная. Были еще четверо возле белой каменной стены: горящие в светящихся лучах осел, две собаки и лысый бродяга. Казалось, бродяга только что вышел из бани – красный, босой и в простыни. В бороде его могла спрятаться мышь, а лоб блестел, как медный щит.

На раскаленных камнях площади можно было жарить мясо, но у бродяги подошвы были, видно, тоже из камня. Он неторопливо пересекал площадь. И по всему его облику было видно, что ему нравится и жара, и площадь, и раскаленные каменные плиты, и осел с собаками, и, главное, он сам себе. Бог лени питал слабость к таким бродягам. Он их вполне справедливо считал своими детьми. Бродяга бормотал что-то себе под нос. А может быть, напевал.

Подойдя ближе, бродяга молча уставился на меня. На широко поставленных узких глазах его почти не было ресниц и оттого взгляд был какой-то странный, будто он одновременно глядел на меня и мимо меня. На руке у него была татуировка – не татуировка, написано одно слово: женское имя Ксантиппа. Неужели это Сократ?

– Чужеземец, – сказал он. – Как ты думаешь, бог лени есть? – и, не ожидая от меня ответа, продолжил: – Это должен быть верховный бог. Почему-то о нем все умалчивают. Лен, наверное, даже говорить о нем. Во всяком случае, люди больше остальных богов поклоняются именно ему. Даже больше, чем Дионисию. Почему бы это?

Глаза бродяги пытливо разглядывали меня. В его лице я вдруг обнаружил ту неуловимую усмешку над всем сущим, которую заметил у музейного Сторожа.

– Бога лени нет, – сказал я, сбросив с себя груз обета молчания. – Есть богиня. Прекрасная. Прекрасней Афродиты. Жаль, спросили не у меня, а у Париса.

– Пойдем выпьем. Сократ, – представился бродяга. – Выпьем за него или за нее – все равно! Сегодня мне с утра все кажется, что он (или она) находится где-то рядом.

– Ахилл, – представился я и подумал, а почему бы и нет? – Это твой осел? Я такого же видел где-то в горах. Да-да, в поселке геологов. Подрос. Сколько лет-то прошло...

Сократ похлопал широкой ладонью по моим рыцарским доспехам.

– Ты смотри, холодный и пыль не оседает. Не жарко? Орихалк? Орихалк – что же еще, я его таким и представлял себе. Зачем лысому ослу еще один осел? Ахилл, говоришь? Воскрес, значит. Я был уверен, что ты не в Аиде и не во втором круге Ада, а на Блаженных Островах, со своими, как их там всех... – он стал бранчливо перечислять женские имена: – Еленой, Ифигенией-Орсилохией, Медеей, Поликсеной, Пиррой...

– Я там один.

– Я так и думал! – воскликнул он. – Значит, женщин там нет? Видно, неправильно мнение всех тех, кто думает, будто смерть это зло.

– Кстати, Пирра – это я сам, «Рыжий». А почернел я от пороха и угара прожитых лет.

Бог лени, повозившись с ремнем, оторвал его, снял с ног обе сандалии и, чертыхаясь, пошел к сапожнику Гефесту. «Как они терпят?» – подумал он о многотерпеливых людях, шагая по раскаленным камням городской площади попеременно то на пятках, то на цыпочках. Смешно наблюдать за подпрыгивающим, как на сковородке, богом. Правда, его никто не видел. Площадь была пустынна, если не считать осла, сбежавшего из поселка геологов, да двух бездомных собак, которым лучше жара, чем холод.

– Метробий! Подай нам с Ахиллом хлеба и вина. Да не того, вчерашнего. Подавай завтрашнее.

Метробий тупо смотрел на Сократа, не понимая, какого именно вина хочет этот выживший из ума пьяница.

– Что смотришь на меня? Подай того вина, которое я спрошу у тебя и завтра, если захочет бог.

– А почему мне знать, какое вино ты спросишь у меня завтра, Сократ?

– Почему – кому как не тебе и знать. Тебе никогда не разбогатеть, Метробий. Ты должен безошибочно угадывать желания своих посетителей, как собака угадывает того, кто ее угостит костью, а кто пинком.

«С тобой разбогатеешь!» – подумал Метробий, угодливо улыбаясь. О, сколько злобы в угодливых улыбках! В них-то и видны все мысли.

– Извини, Сократ, если что не так. Мы, конечно, твоими талантами в спорах не обладаем, но какую-никакую, хвала Гермесу, забежаловку сохраним. С полсотни сосудов разного вина в подвалах стоит и ждет своего часа. Оно, конечно, амброзийного благоухания, может, и не имеет, но не для богов же предназначено, в конце концов...

– Браво, Метробий! Ты потихоньку исправляешься.

– И много всякой утвари имеем. Шесть рабов. Панфея хочет купить себе рабыню. Товарами различными приторговываем...

– Конечно, Метробий, конечно! Я, правда, как-то умудряюсь жить без этих вещей. Лишь бы хлеб да вино были, да травка под деревом, а остальное может и подождать. Не приучен к роскоши с детства, а сейчас поздно начинать. У каждого своя мера. В твою меру сотня моих войдет и еще место останется. Я все больше по камню, да словом. Утро принесло мне самый тяжелый труд – каменотеса, вечером же я решил заняться самым легким трудом – болтуна. Уж ты не гневайся на меня. Дай хлеба и доброго вина, этого будет достаточно. А травку потом

я и сам найду, не хлопочи. Если возьмешь с меня плату словами, садись с нами, поговорим. Расплачусь сполна.

У Метробия отвисла челюсть. Сократ вечно приводил его в состояние какой-то собачьей запуганности: он с трудом вспоминал нужное слово, точно Сократ изъясл все слова из обращения. А ведь Сократ ничего такого непонятного не говорил, но рядом с ним постоянно чувствуешь себя дураком. Хотя дурак-то – сам Сократ. Так по-дурацки промотать всю свою жизнь! Ни одного раба, в доме шаром покати, жена фурия, сам – голь перекатная, а смеется над всеми, как Вседержитель! Что за человек такой? Оттого Метробий обычно и молчал, тупо глядя на мудреца с городской площади. Сократ же в таком одностороннем диалоге лишился удовольствия докопаться до истины, вздыхал и ел свой хлеб, запивая его вином. При этом он бормотал, усмехался, мотал головой, хмурил брови, видимо все-таки ведя диалог с невидимым собеседником. Метробий шел к супруге и шипел ей на ухо, что опять зашел «наш голозадый мудрец» и опять у него только воздух в щеках да брюхе – и ни одной драхмы.

И сейчас он пошел жаловаться Панфее:

– Мало, сам пришел, приволок еще дружка в старинных доспехах, и оба хлещут неразбавленное вино так, что скоро прикончат бочку, что стоит в самом углу.

Метробий явно преувеличивал, так как Сократ был весьма умерен в питье и еде, а я один при всем желании не смог бы выпить и десятой доли бочки. У жадности глаза больше, чем у страха.

– Я позову Ксантиппу, она быстренько приведет в чувство своего муженька.

– Ты ей напомни, что он не расплатился со мной за три раза.

Я пригляделся к руке Сократа. Ниже «Ксантиппы» было зачеркнуто короткое имя. И в полном соответствии с ГОСТ-2503 правее в кружочке был проставлен номер изменения: 1.

– Как звали-то первую?

– Звали как-то. И сейчас зовут. Всех их как-то зовут.

– Сам стер?

– Зачем сам? Оно само стирается, само записывается. Ну-ка, покажи мне свою ладонь, – попросил Сократ.

– Мне гадать бесполезно, мои линии давно уже сплелись где-то в мертвый узел, Сократ.

– Я не гадаю. Приложи ладонь к своему лбу. Да, в тебе все гармонично. Ладонь настоящего мужчины, я разумею, воина и мудреца в одном лице, должна накрывать лоб. Это гарантия того, что сильный ум будет надежно защищен сильной рукой. Смотри, как у меня, – он широкой ладонью накрыл свой выпуклый и черный от загара лоб.

– Вот тут не прикрыто, – не удержался я.

– Где? – вскинулся Сократ.

– Самая малость. Практически нигде.

– Время – самый безболезненный эпилятор. Смотри, какая кожа гладкая... Ахилл, я знаю, ты не из любителей поговорить за жизнь, не любишь ты говорить и о смерти. Это я словоблуд и в своих блужданиях никак не могу вырваться из собственных заблуждений. Как ты думаешь, меня ждет ужасный конец? Что молчишь? Ты сейчас откуда? Из Сирии? Мне предсказали, что тот, кто явится из Сирии, скажет мне правду.

– А правда ли то, что тебе предсказали?

– Если правда, то и ты мне скажешь правду, если нет, то и ты мне солжешь, и я все равно узнаю правду. Говори. Истина скрывается в словах, истина скрывается и в молчании. Имеющий уши да слышит, имеющий язык да говорит. Истина, как всегда, где-то между ними, как тот буриданов осел с площади.

– Истина как раз в том, что тебя убьют не мои слова, которые ты жаждешь услышать, а убьет молчание толпы, мнением которой ты так мало дорожишь.

– Не я первый, не я последний, – вздохнул Сократ. – И это истина. Благодарю тебя.

– Сократ! – послышался снаружи женский голос. – Ты опять здесь?

– Ксантиппа, – вздохнул Сократ и тремя большими глотками допил свое вино. – Принесли черти. Не иначе, Метробий послал за ней свою мегеру. Сейчас начнется. У нее бабушка была амазонкой, а дедушка змеем.

Ворвалось пленительное создание, под стать Сократу, только жилистое и вихреподобное. Турбулентное, словом. Оно сразу же вцепилось мудрецу в бороду и стало пенять ему на свою нелегкую женскую долю. Сократ жмурился, как кот, и терпеливо ждал окончания женского порыва. Из смежного помещения, заваленного мешками и заставленного корзинами, осторожно выглядывал Метробий с супругой. Из воплей Ксантиппы я с трудом уловил, что Сократ что-то не сделал по дому или сделал не так, как она велела, и от этого теперь может произойти внеочередной конец света.

– Платон заходил? – задал наконец вопрос мудрец, когда супруга его выбилась из сил, и вопрос этот вымел разъяренную Ксантиппу из метробиевой берлоги, как сильный пинок хозяина раскудахтавшуюся курицу.

– Она терпеть не может Платона. Считает, что он мне дороже ее. Ее почему-то бесят его чувственные губы. Как мне убедить эту несчастную, что ближе ее мне в этой жизни никого нет. Мои слова – мое несчастье. Мне никто не верит. Даже собственная жена. Все почему-то считают, что я насмехаюсь над ними. Когда я говорю с ними серьезно, они считают, что я смеюсь над ними, когда же я в самом деле подшучиваю над кем-либо, он воспринимает это очень серьезно и обижается.

– У вас просто разные языки, Сократ, и им всем что-нибудь надо от тебя.

– А мне ничего не надо ни от кого. Единственное, что я хочу, это понять, чего они все хотят друг от друга. Но боюсь, уже не пойму. Слишком их много и слишком многого они все хотят, а я один. Может, Платон разберется. Я познакомлю тебя с ним. Занятный юноша. Метробий! Слышишь меня?

– Чего тебе, Сократ? – подошел трактирщик и нахмурился. Ему было неуютно под насмешливым взглядом старого бродяги.

– Ксантиппа случайно проходила мимо или по делам зашла?

– Почем мне знать, Сократ, где и как носит твою жену.

– Да, Метробий, тебе это воистину не знать. Поддай-ка нам еще этого вина. В кредит. У меня здесь открыт кредит. Беспроцентный. Я его решил назвать «пенсией», – пояснил он мне, расчесывая широкой пятерней растрепанную бороду. – Правда, доброе слово – «пенсия»? Так ведь, Метробий?

– Так, так, – кисло ответил пузатый скряга. «Чтоб тебя разорвало от твоей «пенсии»!» – подумал он.

– Одно могу сказать точно, – вздохнул Сократ. – Ксантиппа любит меня. Метробий, вот ты вполне зрелый мужчина. А ты знаешь, почему женщины больше любят зрелых и даже пожилых мужчин, чем молодых?

– А что, они больше любят зрелых?

– Ну, тут тоже нужна мера: чтобы не перезреть. А то ты мне в прошлый раз дыню подкинул, сказал – зрелая, помнишь? А она уже бродить стала внутри. Так вот, женщины любят пожилых мужчин больше, чем молодых, потому что у пожилых осталось гораздо меньше времени, и все, что они обещают, они тут же, в отличие от молодых, делают.

– Да? – недоверчиво посмотрел на Сократа Метробий.

– Он нехороший человек, – сказал я, кивнув вслед удалившемуся хозяину трактира. – Да простят меня боги.

– Да, и эта черта мне в нем нравится. Тебя удивляет это?

– Нисколько.

– Раз он нехороший человек, от него не надо ждать подлости или предательства, так как ничего, кроме подлости и предательства, он совершить и не может.

– Да, Сократ, так ты скорее достигаешь личной свободы.

– Верно, Ахилл. Стоит мне освободиться от обязательств по отношению к тому же Метробию, стоит мне наплевать на то мнение, которое он имеет обо мне, и я тут же становлюсь свободным и от Метробия, и от его мнения обо мне, и от своих ожиданий по отношению к Метробию и его мнению, и от переживаний по поводу моих несбывшихся ожиданий, и от всяких последствий этих переживаний – мозговых, сердечных и, главное, душевных ударов. Теперь тебе понятно, что меня больше устраивает то обстоятельство, что Метробий нехороший человек.

– Ты всех людей считаешь нехорошими, Сократ?

– По отношению ко мне? Наверное, да. Во всяком случае, если кто-то не делает мне зла, это для меня уже благо, а если кто и делает мне зло, оно мне не вредит, так как я уже приготовился принять это зло спокойно.

– Ты подразделяешь людей на нехороших по отношению к тебе, а еще – по отношению к кому?

– Ты смотри, не я спрашиваю его, а он меня. Тебя никогда не было среди моих собеседников, но ты пользуешься моими испытанными приемами, – сказал Сократ. – Еще – ко всем остальным, так как в мире есть только они и я, третьего не дано. Во всяком случае, третье – не для меня.

– Ты хочешь жить, Сократ? Ради чего ты живешь?

– А вот это удар ниже пояса.

– Почему же ниже пояса? Ведь я для тебя такой же нехороший человек, как все.

– Такой же, да не такой же, – устало сказал Сократ. – Дело в том, что вопрос этот к людям не имеет никакого отношения.

– Почему же тогда ты сам спросил меня об этом?

– А ты имеешь какое-то отношение к людям? – насмешливо поглядел на меня Сократ. – Когда я сказал, что видно неправильное мнение всех тех, кто думает, будто смерть это зло, я опять же имел в виду мнение людей, которые постоянно и во всем лгут друг другу и сами себе. Раз они лгут, значит, и это утверждение, что смерть есть зло, – ложно. Выходит, для них она – благо. Но разве может быть благом для человека смерть, то есть отсутствие всякого блага?

– Смерть неосязаема, Сократ. Поверь мне. Осязаемо расставание с жизнью, но не так, как оно представляется по ту сторону занавеса. Ты не учишься, что есть еще благо после смерти? Вспомни, что говорил Пифагор.

– При чем тут Пифагор? Я одно знаю твердо: после смерти человека нет, а если и есть, то я его, увы, ни разу не встретил. О присутствующих мы не говорим.

– Они боятся до смерти твоих вопросов даже после смерти, – пошутил я.

Сократ задумчиво глядел на залитый солнцем пустынный дворик.

– Ни одной тени. Ни одной, – пробормотал он. – Скоро там не будет и моей тени, когда я стану пересекать его, а что изменится?

– Твоя тень, Сократ, и тень твоего плаща накроет все человечество, поверь мне, раз я из Сирии.

– Этот плащ, увы, никого не спасет от сомнений, а это для многих хуже смерти, Ахилл.

– Он даст единственное благо, которое ценишь ты, – знание.

Сократ ничего не ответил мне. Он, похоже, стал сомневаться и в этом.

– Странный сон приснился мне на днях, Ахилл. Будто я бреду в болоте по пояс среди зонтиков не то зеленой, не то белой, похожей на укроп травы. А на берегу много граждан, все праздны, тычут в меня пальцами и смеются. Меня смех толпы не смущает, но эта трава... Что это за трава?

– Это цикута, Сократ. Болотный укроп.

– Да, Ахилл, ты прав: взял в руки лук – жди стрелу в спину.

– А сейчас что ты увидел в небе, Сократ?

– Все мы, Ахилл, отражаемся в небесах, как в зеркале, и поверь мне, это зеркало не кривое.

– Почему ты ничего не записываешь, Сократ?

– А Платон зачем? С падежами у меня нелады: из всех знаю только один – падеж скота. Да и звуки голоса рядом с буквами – все равно что живые птицы рядом с их чучелами, – Сократ (заметно нервничая) постукивал и пощелкивал по столу карточкой, с одной стороны черной, с другой белой. – Погоди-ка, я на минутку до ветра, пос-мотрю, какой он там сегодня, – он бросил карточку на стол и вышел. В дверях бросил с укором, непонятно кому:

– Вот ведь жалость, жизнь прошла – без футбола и оперетты!

Я, признаться, опешил, услышав такое, взял в руки карточку, и в это время в кладовке что-то загрохотало. Послышался испуганный возглас Метробия. Я встал посмотреть, что там.

Метробий, испуганно глядя на меня, держал в руках кубок. На полу в луже горького вина валялись осколки кувшина, на которых, казалось, навек отпечатались метробиевы слова: «Какая жалость!»

– Ну-ка, что там у тебя? – я взял кубок у трактирщика. Тот нехотя выпустил его из рук.

– Это Сократ заказал, – промямлил он.

«Значит, все», – решил я.

Мне было теперь все равно – жить или умереть. Должен быть переход из одного состояния в другое, коридор, наполненный болью и сожалением или, напротив, спокойствием и блаженством, но я не видел этого коридора, не чувствовал его, не верил в него, и знал я только одно – сбылась моя мечта, единственная мечта всей моей жизни – спасти Сократа, спасти его от позорной и мучительной смерти. Я был убежден, что не было никакого суда, не было никакого приговора («Верховного суда»!), не было душещипательных и душеспасительных разговоров Сократа со своими друзьями и недругами перед тем, как он выпил яд. Это всё выдумки журналистской братии. Наглая ложь, настоящая на столетиях людского безразличия. Его отравил в кабаке Метробий, а самого Метробия потом утопили в бочке с его же вином.

Откуда вот только Горенштейн узнал о моем тайном желании, как проник он в него?.. А почему – он в него, это мое желание проникло в него самого, вот так и узнал.

Я сделал два глотка из кубка, повернулся и глянул в напряженные глаза Метробия. Тот тут же потупился, но я успел заметить в нем смятение и страх. И тогда я схватил Метробия за жирное мягкое лицо, запрокинул голову и влил содержимое кубка ему в рот. Он захлебнулся и стал хрипло кашлять. Я оттолкнул его, и он осел на пол бесформенной кучей, в которой от человека остался только слабый плаксивый голос.

– Я не хотел, – догадался я по прыгающим губам трактирщика.

– И я не хотел. Мы оба этого не хотели, – сказал я и вышел вон.

Снаружи были только раскаленные камни, которые при всем желании невозможно превратить в хлеб. На эти камни меня и вырвало, на них я и лег, и провел какое-то время в безумной, переходящей в наслаждение, боли.

Последняя мысль, которую еще озаряло яркое солнце, была очень четкая и спокойная, как тень: цикута была для Сократа. И меня наполнила безмерная радость, причина которой была выше моих сил, и она тихо опустилась куда-то вглубь меня вместе с солнцем, которое, как я чувствовал, не хотело садиться раньше времени.

И уже совершенно новой мыслью, о которой можно было только догадаться (она проплыла в самом начале того неведомого перехода и быстро затерялась в нем), была: так вот он какой этот мрак, он, точно летний день, так полон света... Света выполненного долга?

Не кажется ли, что великие философы прошлого взирают на нас из будущего?

Очнулся я на борту галеры с резью в желудке и мякиной в башке.

– Хорош! – гоготнул кормчий и подмигнул мне. – Надрался! Это по-нашему! Еле довели! Все нормально? О* кей! Вставай, мы уже давно отошли от берега. Двоих болтунов все-таки потеряли! Туда им и дорога. Вернутся еще. Иди поешь, милорд, и снова в кандалы, уж простите!

Я встал и пошел на корму. В руке у меня была черно-белая карточка. На ней было написано: «Граф Горенштейн. Специальный и Полномочный Представитель» («Представитель» непонятно кого и где) и реквизиты, которые никак не запоминались. А в углу визитки была пометка: «Александр Баландину. Лично».

Значит, я спас Саню Баландина? Значит, Саня – Сократ?.. А почему бы и нет? И Сократ после смерти может стать Баландиным, и Баландин после смерти может стать Сократом. Вот только кем был я и кем я стал?.. А не все ли равно, кем после смерти становишься? Может быть, и не все равно. Но если я спас Саню, господи, кто же тогда спасет Сократа?..

Я много повидал в пути. Наверное, все повидал, так как не находил больше ничего нового для себя. Но в странствиях поправимо даже это. Не мною, так кем-нибудь другим. Если надумал искать дорогу в ад, рано или поздно она сама найдет тебя. Да и что такое дорога? Что такое путь? Пространство из пункта А в пункт В, заполненное временем. Одно не ясно, что надо преодолеть – пространство или время? Преодолеть их одновременно, как правило, ни у кого еще не получалось. Вот и идешь, непонятно куда и непонятно зачем. Дорога ведет, ноги идут, глаза отмечают вехи. По пути развязываются шнурки и теряются пуговицы, на обочине остаются потерянные кошельки, зонты и годы, пыль позади покрывает разбитые бутылки и жизни...

(Глава 62 из романа «Мурлов, или Преодоление отсутствия»)

Это Родина моя

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, вдвойне горе тому, кто действительно без нее обходится.

И.С. Тургенев

Что надо человеку иметь, чтобы сказать: «Это Родина моя!» Да только одну Родину! Он же говорит своей матери – единственной, незаменимой: «Мама!» Жалко тех, кто добровольно отказывается от родителей и от Родины, кто примеряет их по себе, как Сенька шапку, забыв Тургеневское, выстраданное: «Россия без каждого из нас обойтись может, по никто из нас без нее не может обойтись». Впрочем, «тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком». (А. де Сент-Экзюпери).

На днях услышал песню «Родина» в замечательном исполнении Кубанского казачьего хора и вспомнил, что впервые услышал ее давным-давно от подгулявшего в честь праздника соседа. Помню, он подмигнул мне тогда: «Нравится? Народная, чего ты хочешь...» Песня поразила меня своей радостной чистотой и необозримой, как степь, ширию. А вскоре после этого услышал, как ее поет тенор (тогда еще не народный артист СССР) Евгений Райков.

Вижу чудное приволье,

Вижу нивы и поля, —

Это русское раздолье,

Это русская земля!

Потом я часто слышал песню по радио, на ТВ, в концертах, особенно художественной самодеятельности (это обычно была «фишка» вечера) – тогда в зале и на сцене было меньше хохота и скабрёзности, а больше лирики и порядочности. Было много сборников и грампластинок с записью «Родины». Все почитали за честь спеть ее: Ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова (солист Евгений Беляев), хор Московского Сретенского монастыря, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Владислав Пьявко, Анатолий Соловьяненко... Пели не только русские вокалисты, но и иностранные, очарованные красотой мелодии. Скажем, знаменитый шведский тенор Николай Гедда, «Придворный певец» и член Шведской академии музыки, кавалер Ордена Почетного легиона (Франция), почетный член Королевской академии музыки (Великобритания) – пел на русском языке так, как не всякий русский споет. Выдающиеся исполнители и коллективы подняли популярность песни и сами поднялись с нею до высот российских раздолий.

И кто бы ни исполнял ее, профессионалы или любители, я всякий раз поражался – песня звучала так, словно ее пели ангелы. Исполняют ее и сегодня, правда, гораздо реже, и, к сожалению, в ней появился чужеродный, попсовый привкус. Но даже при этом «Родина», как и «Прощание славянки», вызывает слезы у слушателей!

По молодости я вслед за моим соседом и многочисленными конференсье думал, что песня – народная. В ней и впрямь, нет того, что заботит поэтов и композиторов – авторского почерка. Казалось, слова и мелодия сами по себе неспешно соткались из духа русского приволья.

Хотя тогда уже было известно, что у песни есть родители. Первым стал известен автор слов. Лет шестьдесят назад в журнале «Огонек» появилась первая заметка ленинградского филолога Смолкина об «авторе песни о Родине» – вологодском поэте Феодосии Петровице Савинове (1865—1915). Некоторых знатоков эта новость обескуражила, так как в авторы прописался если не народ, то уж поэты куда «более заслуженные» – Кольцов, Некрасов, Есенин...

Стихотворение «На родной почве» («Родное»), написанное Савиновым в 1885 г. и тогда же напечатанное в московском еженедельнике «Волна», было из восьми строф, Три из них (с изменениями) и «отлились» позднее в песню «Вижу чудное приволье» («Родина»). Начиналось оно так:

Слышу песни жаворонка,
Слышу трели соловья...
Это – русская сторонка,
Это – родина моя!..

Поэт создал немало стихов, но остался в истории русской литературы, прежде всего автором этого стихотворения, как позднее Раиса Кудашева автором слов популярной детской новогодней песенки «В лесу родилась ёлочка». Говорят, Максим Горький (то ли Александр Фадеев) за одно это стихотворение принял поэтессу в Союз писателей СССР.

«Достаточно беглого взгляда, чтобы почувствовать заложенную в этих стихах удивительную песенность, что невольно наталкивает на мысль о том, что при его создании у двадцатилетнего молодого поэта была своя музыкальная версия, своя мелодия, так как построение строф как бы четко делится на запевную и припевную части. По интонационному словарю мелодия песни и рифма стиха очень близки народным песням, например такой песне как «То не ветер ветку клонит» («Лучина»), что дает основание предполагать, что при создании данного стихотворения автор отталкивался или лучше сказать брал за образец популярную русскую народную песню, что однако нисколько не умаляет достоинств музыки и текста, а наоборот еще больше подчеркивает преемственность традиций, их народность». (Ю. Зацарный).

О жизни Савинова мало что известно. Лишь благодаря поискам вологодского краеведа Л.А. Каленистова, историка русской народной песни Л.Ф. Гофмана (Израиль), Николая Овсянникова, Юрия Зацарного и др. мы имеем отдельные сведения о биографии поэта.

Будущий поэт родился в 1865 г. в Тотъме Вологодской губернии, В этом городе через 80 лет другой русский поэт – «блистательная надежда русской поэзии» (Ф. Абрамов) – Николай Рубцов окончил семилетку и два курса Тотемского лесотехнического техникума.

Феодосий с детства хлебнул лиха. Отец умер, когда мальчику едва исполнилось восемь лет, а отчим всякий раз учинял с неуправляемого пасынка строгий спрос. Тяга к знаниям у мальчика была сильная, но здоровье слабенькое. Хватало и гонору. По болезни и строптивости он не закончил ни гимназии, ни юнкерского училища, ни Московского университета. Вернувшись в Вологду, устроился канцеляристом в губернское правление, а затем делопроизводителем в Попечительство детских приютов.

Юношеские стихи Савинова охотно печатали в газетах и журналах Вологды и обеих столиц, а сатиры и эпиграммы мгновенно расходились среди горожан. В 1887 г. в Вологде вышел первый сборник «Стихотворений» Савинова (300 экземпляров), куда и вошло «На родной почве». Сборник разошелся по подписке.

Высмеиваемое начальство не стало терпеть зоила, и после скандала, вызванного хлесткой поэмой «Савиниада», юношу отправили в отставку. Феодосий переехал в белокаменную, где устроился в нотариальную контору, а затем корректором в журналы «Будильник» и «Развлечение». В 1900 г. вышло 2-е издание «Стихотворений». В Москве сборник не заметили. Мало того, один из критиков раздраконил пиита за «бесцветное и жалкое нытье». Не смог вывести «в люди» Феодосия и его известный в свете друг – художник В.Э. Борисов-Мусатов (1870—1905).

Автор изъяс из лавок тираж и, говорят, запил, что не удивительно.

К нашему счастью, на отдельные стихотворения Савинова обратили внимание композиторы Петр Алексеевич Петров-Бояринов (1868—1922) и создавшие песню «Родина» Александр Николаевич Чернявский (Цимбал) (1871—1942) и А.С. Самойлов (некоторые исследователи пишут, что под этим именем скрывался композитор Абрам Самойлович Полячек

(1889—1976), об авторстве которого заявил его сын Евгений Полячек после смерти отца <http://kkre-12.narod.ru/polyachek.htm>).

В последние годы жизни постоянным спутником поэта стали одиночество, безденежье и меланхолия. Страдая алкоголизмом, отягченным прогрессивным параличом и тяжёлым психическим расстройством, Савинов попал в психиатрическую лечебницу в Кувшинове близ Вологды, перестал узнавать всех, кроме нежно любимой матушки, навещавшей его по воскресеньям в доме скорби. Там он и отдал Богу душу 29 августа 1915 г.

* * *

Вот одно из стихотворений Савинова:

Востока добрые заветы,
Дружок, мотай себе на ус —
Когда избились все штиблеты,
Не покупай себе картуз!
Когда прямую, как стрела,
Дорогу враг тебе покажет,
Пусть мудрость, друг, тебе подскажет
Свернуть у первого угла!..
Какая же тут бесцветность? Какое нытье?

* * *

Не забыт поэт на родине. На Тотемской земле в Центральной районной библиотеке имени Николая Рубцова ежегодно проводят Литературно-художественный фестиваль «Это – русская сторонка, это – родина моя...!», посвященный Феодосию Савинову.

Защити и отчебучивай

Защиты диссертаций проходили в зале заседаний Ученого совета, который располагался в модернизированной пристройке к административному корпусу сельхозинститута. Издали сочетание огромных стекол пристройки с крепостными валами старого здания несколько резало глаз, но осознание того факта, что архитектура – это застывшая музыка, потом этот же глаз и успокаивало.

В зал заседаний можно было войти либо, как триумфатору, центральным входом, завешанным красным плюшем, для чего надо было обогнуть здание по улице и подняться по мраморной лестнице с дубовыми перилами на второй этаж, либо, как своему человеку, более коротким путем прямо из предбанника ректора через уютную потайную комнатку. Из комнаты сквозняком можно было попасть в зал заседаний, а если с поворотом на девяносто градусов – в банкетный зал. Банкетный зал, в свою очередь, имел прямое сообщение с залом заседаний по закону сообщающихся сосудов: чем больше воды было в зале заседаний, тем больше пили в банкетном.

Члены Ученого совета, оппоненты и научный руководитель диссертанта, как свои люди, из административного корпуса попадали в зал заседаний коротким путем, путем ректората. За потайной комнатой закрепилось название «Сезам». Стоило легонько стукнуть в драпировку на дверце, сказать: «Сезам, отворись!» – и «Сезам» отворялся. Появлялся импозантный мужчина, распорядитель банкетов и прочих торжеств. Фамилия его была Живчик и когда-то, говорят, она соответствовала его темпераменту. За многие годы, отданные церемониям, Живчик обрел осанистость и несмываемую никакими невзгодами улыбку на лице. Никто из научной элиты толком не знал его имени и все обращались к нему либо «Вс-вс-вс...», либо «А! хм, н-да, ович!», либо просто по созвучию: «Голубчик!» К слову, звали его Василий Александрович. Словом, он был то, что надо. Старался все эти годы на совесть. С его совести И.Е. Репин вполне мог бы написать картину маслом, размером в полстены «Сезама», под названием «Апогей заседаний Ученого совета СХИ».

В банкетном зале, разумеется, все располагало к радости. Выпивка и закуска, понятно, шли за счет «подзащитного», сервировка и атмосфера творились Живчиком. Бутылок на столах не полагалось. Бутылки Живчиком отвергались. На бутылках может быть пыль, микробы. Без дегустации в них самих может оказаться подделка или суррогат, не говоря уж о всяких неожиданностях: джиннах, записках, жемчужинах. Бутылки – это порождение плебса, а в этом зале, что вы, были только аристократы духа! Поэтому никаких бутылок! Никаких! Разве что сразу же после защиты – шампанское. Из ведерок со льдом. Только так, настоял некогда Живчик. И ректор его одобрил.

На столиках в хрустальных графинчиках маслянисто поблескивал ликер, терялся на фоне мебели из натурального дерева, но угадывался коньяк, водка застыла академически холодно и строго. Вкусы были учтены все. Тут же в кувшинах стояли соки и воды, напитки и морсы. Краснела клюква, присыпанная сахарком. В бочоночке таилась моченая брусника. На блюдах в разноцветной теплой гамме лежали нарезанные, свернутые крест-накрест и в трубочку круглые, овальные и квадратные куски завяленного и прокопченного мяса. Впечатляли с морковными цветочками и веточками свежей петрушки заливные пласты языков и студня. На отдельном, похожем на шахматный, столике лежали бутерброды с красной икрой и, отдельно, с черной. В более прохладной гамме тускло отсвечивали рыбные блюда. В центре стола, как бы в назидание теме нынешней диссертации (мол, вот какое можно при желании приготовить блюдо!), в крохотных глиняных горшочках поджидал почитателей изысканной и благородной пищи нежнейший жульен из птиц. Ученые еще до защиты имели возможность из «Сезама» увидеть в полуоткрытую дверь накрытые столы банкетного зала и уронить первую слюну. Слюну хорошо

ронять в банкетных залах – она не долетает до пола. Плохо в студенческих столовых – можно поскользнуться.

В «Сезаме» было скромнее, но скромность в предвкушении скоромного это такая мина! В таких же графинчиках был тот же ликер, коньяк, водка, а из закусок лишь яблоки да бутерброды с икрой. Из представленных напитков прежде других в глаза бросалась водка. Водка – это академизм. Кстати, в магазине неподалеку под вывеской «Элитные напитки» в самом центре витрины располагались именно русские водки. Сразу было видно, что расставляла их родная рука.

Успокоив взглядом графины с ликером и коньяком – мол, все еще впереди, разлили водочку, опрокинули и тут же руки потянулись к черной икорке. Это уже инстинкт. Обсудили, весело глядя друг на друга, тот удивительный факт, что у такой белой осетрины такая черная икра и, поскольку дам в «Сезаме» не было, что у дам бывает такое же.

Надо отметить, все присутствующие были люди ученые, и в зал заседаний добрая половина из них шла, предварительно ткнув по рюмке-другой из своих закровов. Все-таки налегать на горячительные напитки до защиты был моветон, бросалось в глаза, а пропустить в «Сезаме» хоть и по пузатой рюмке, согласитесь, было маловато. Все-таки в зале заседаний предстояло сидеть часа три-четыре, а то и все восемь, и слушать, кто на что горазд. И не просто слушать, а еще и задавать вопросы, выносить решение и, главное, не испортить себе последующий банкет долгим и скучным ожиданием. Эти предварительные две-три рюмочки были совершенно как два-три полешка в печурке с изразцами морозным вечером на зимней даче (у кого она есть). Покой в душе и тепло в желудке гармонировали с ясностью мысли.

Путь к сердцу оппонента – известный путь. Оппонент (к слову, не каждый) отличался от членов Ученого совета только тем, что не позволял себе лишней «предварительной» рюмки. Как-никак прокурорская должность. Благодушие оппонента зависит от сочетания в нем природных жалостливости и желчи, удобрений, вскормивших его талант, скрытых достоинств и явных промахов диссертационной работы и, разумеется, от банкетного церемониала. Ректор вуза, тонкий ценитель и гурман, хорошо разбирался в человеческих слабостях, иначе бы он не был ректором. Оппонент обязательно должен не только увидеть, но и слегка «окунуться» в атмосферу банкета до церемонии защиты. Поэтому стопочка в «Сезаме» и вид банкетного зала не повредят! На всем протяжении защиты тонкий аромат и золотистые видения грядущего банкета не позволят забыться оппоненту и резким выступлением перечеркнуть радость последующих минут.

Ну, как тут не помянуть лишний раз знатока и мастера банкетных церемоний Живчика, чье имя многими вспоминается с трудом. За ненадобностью. Василий Александрович принадлежал к тем безымянным, чьими руками выстроено столько дворцов и храмов, столько расписано стен и икон, столько соткано ковров и сшито мундиров, столько выковано булатных мечей и выточено малахитовых шкатулок, что несть им числа! Крепость сильна крепостными. А над нею всегда сильный ректор. Ну, а при нем, понятно, пушки, генералы и маркитантки. Это уже второстепенно.

Настя долго репетировала свое выступление и перед зеркалом, и перед Григорием Федоровичем, и на кафедре. Выступать на кафедре перед преподавателями, которым несколько лет назад сдавала зачеты и экзамены, стучать в дверь дома, в который они готовы были впустить ее, бесстрашно говорить: «Это я!» – было страшно. И Настя очень волновалась. Текст своего выступления она выучила наизусть, но стоило ей открыть рот и посмотреть в зал, как она сразу все забыла, и что говорила, как говорила – потом совершенно не помнила. Ей казалось, что она выглядит наивно, смешно, с претензией, глупо, в конце концов! Настя была в отчаянии и едва не расплакалась, подводя итоги своей работы. Неожиданно все зашумели: «Хорошо! Хорошо!

Прекрасно!» и даже слегка поаплодировали. А профессор Суэтина сказала, что «работа явно тянет на докторскую».

Григорий Федорович был доволен. Он сказал, что все будет хорошо, и только посоветовал Насте за двадцать минут до защиты выпить валерьянки. За двадцать минут до защиты Григорий Федорович сам выпил валерьянки, а Настя выпила коньяку и, красная, направилась на экзекуцию. Григорий Федорович по пути заглянул еще и в «Сезам».

– Опаздываете! – с нарочитым ужасом приветствовали там его.

Как проходят защиты, многие знают. Для остальных немногих пробежимся вскользь по главным моментам этого ритуала. Зал заседаний – это несколько рядов скрипучих кресел, длинный стол под зеленым сукном, пятнадцать стульев красной обивки, рядом трибуна для выступающих. На трибуне графин с водой, стакан. За спиной совета черная доска, на которой во время дискуссии пишут мелом, пара металлических планок, к которым прикрепляются магнитиками плакаты. В трубочку свернут экран, на который при случае проецируют диапозитивы из переносного диапроектора. На столе в хрустальных вазах розы, за которыми можно пошептаться о том же банкете. Перед каждым стулом стопочка бумаги, бутылка нарзана, стакан и карандаш. В середине и по концам стола три экземпляра диссертации соискателя. На стенах картины Шишкина (копии). Медведи, сосны, рожь. С потолка свисает огромная люстра, упавшая, накрыла бы аккуратно всех собравшихся в зале. Пол натерт и блестит. Окна раскрыты, в них видно шевеление жизни. Каждые две-три минуты проползают рога троллейбуса.

Собрались все. Двери закрыли. Открытая защита диссертации началась.

Сидели, каждый на своем месте: Ученый совет во главе с председателем, секретарь совета, два оппонента, научный руководитель, приглашенные коллеги, малочисленные родственники и друзья, наконец, сам соискатель. С небольшим интервалом – команда второго соискателя. Сегодня было две защиты.

Минута молчания. Секретарь привычно занудно бубнит:

– На защиту представлена диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук аспиранта третьего года обучения Анненковой Анастасии Николаевны. Тема диссертации: «Морфологические показатели качества утиных яиц». Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, профессор Толоконников Григорий Федорович. Ведущая организация – Научно-исследовательский институт птицеводства, город Загорск. Первый оппонент – заслуженный деятель науки и техники СССР, профессор Григорьев Егор Дмитриевич. Второй оппонент – кандидат биологических наук, доцент Семенов.

Секретарь полистал бумажки, подумал и объявил:

– Слово предоставляется соискателю Анненковой Анастасии Николаевне!

Настя подскочила, словно ее ударили в бок. Стараясь идти медленно и ровно, поднялась на трибуну. Ей показалось, что трибуна мелко дрожит. Сухим языком обвела пересохшие губы. Машинально налила воды в стакан, выпила. В зале и в президиуме заулыбались. Первые две-три минуты были привычные, как рога троллейбуса в окне.

Настя откашлялась и выше, чем хотела, произнесла:

– Уважаемый председатель! Уважаемые члены Ученого совета! Основная идея работы заключается в исследовании влияния...

Пока Настя докладывала, члены совета сначала с одобрением убедились, что у соискателя костюм полностью соответствует торжественности и ответственности момента – серый с белым жабо, брошкой, что это действительно очень приятная женщина – крупная и красивая, настоящая русская красавица, что она в меру волнуется и у нее грамотная речь, после чего по очереди стали быстренько проглядывать выводы из ее диссертации, пытаясь уловить смысл. Некоторые, в поисках подходящего вопроса, углублялись даже в середину работы. Когда они переставали листать, замирали и остановившимся взором тупо смотрели в одну точку, это сви-

детельствовало о том, что вопрос пойман. После этого начинали говорить соседу, например, о том, какие туалеты в Лондоне – блестят, как станции метро! Что ж, на Западе блестящие сортиры, а у нас – умы.

На удивление, Настя волновалась меньше, чем на предзащите. В начале своего «слова», как это и было положено, она сделала изящный реверанс в сторону генерального птицевода Леонида Ильича Брежнева и всеохватных материалов XXIV съезда КПСС, в основном и целом посвященных (в том числе) проблемам птицеводства, и только затем углубилась в рассуждения более частного плана. После того, как Настя раскрыла основную идею работы, рассказала о законах, регулирующих причинно-следственные связи, представила статистические данные и полученные зависимости, она с облегчением подумала: «Все: остались графики и выводы!»

– А сейчас, товарищи, я вам проиллюстрирую сказанное, – сказала она. – Будьте любезны, закройте шторы.

Закрыли шторы, и в зале сразу же стало глухо и душно. Зашумел диапроектор. Члены совета, как гуси, повернули головы в сторону экрана. Внимательный человек заметил бы, что скорее всего они видели не экран, а угол зала, так как на полный разворот шеи и корпуса членам совета явно не хватало гибкости. Впрочем, говорят, все Ученые советы страдают косоглазием. Во всяком случае, диапозитивы просмотрели с интересом.

Выключили диапроектор, раскрыли шторы, несколько секунд был шумок. Настя глотнула воды, незаметно вытерла вспотевшие руки о салфетку и приступила к выводам. Собственно, выводы сами дотянули ее до конца. Настя взглянула на Григория Федоровича. Тот одобритительно кивнул ей. Анна Петровна Суэтина сидела с бесстрастным лицом. Значит, тоже одобряла. Настя инстинктивно чувствовала, что самую верную оценку ее работе может дать только она, Суэтина, или «суэта», как они ее называли, будучи студентами.

Секретарь зачитал отзыв ведущей организации. Он был в целом положительный, замечания носили несущественный характер.

После этого первый оппонент с большим чувством собственного достоинства сказал о большом, пионерном вкладе диссертанта в развитие науки. «Это, я бы сказал, прорыв!» – сказал он. (Эх, жаль, не слышал его в этот момент Шопен или Лист!) Разумеется, он считает, что работа выполнена на отменном уровне, несмотря на некоторые мелкие недочеты, и товарищ Анастасия Анненкова вполне заслуживает искомого звания.

Второй оппонент, как менее заметная в научном мире личность, говорил громче и напористей, демонстрируя свою никому не нужную здесь эрудицию. Его выслушали благосклонно.

Перед дискуссией секретарь зачитал семь положительных отзывов на авторефераты.

Дискуссия носила явно демонстрационный характер, так как, собственно, все уже было ясно. Наиболее типичный вопрос был:

– Будьте великодушны, Анастасия Николаевна, напомните мне, куда ведет кривая А на втором графике?

– Вверх, Анатолий Ефремович.

– Благодарю вас. Я так и думал.

Дискуссионное поле чаще всего захватывают молодые, ищущие известности, ученые – чужая диссертация для них оселок, на котором они оттачивают свои языки. Им доставляет истинное наслаждение резать по живому дрожащего соискателя, совершенно не соображающего подчас, чего от него хотят. В поисках истины заходят порой туда, где ее в принципе не может быть. Но на этот раз не было даже таких. Один только «вечный ассистент» Жмуриков ехидно спросил, а почему на защиту представлены не все результаты блестяще проведенных экспериментов. Жмурикова «подавили» из президиума.

Пожалуй, самым дельным было выступление Суэтиной, в конце которого она сказала:

– Я позавчера вернулась из Москвы. Членкор ВАСХНИЛ Харитонов просил передать свои поздравления профессору Толоконникову и вам, Анастасия Николаевна. Сказал, что помнит вас вот такую, – показала она на уровне пояса.

В зале заулыбались. Давненько не слышали ничего подобного от профессора Суэтиной!

Председатель подвел итоги дискуссии, и – вот он, торжественный момент:

– Больше нет вопросов?

Какие там вопросы?! Какие вопросы!

– Благодарю вас, Анастасия Николаевна, за полученное удовольствие присутствовать на вашей защите, – произносит председатель. – Приступаем к голосованию.

Совет удалился в «Сезам».

Через несколько минут секретарь объявляет результат голосования:

– Тринадцать «белых», один «черный».

Председатель проникновенно поздравляет Настю. Настя с чувством благодарит председателя и в «последнем» слове приносит глубокую и искреннюю благодарность своему научному руководителю, коллективу Черноярской ИПС и зоотехнику совхоза «Принежский».

Насте жмут руку, целуют. Григорий Федорович шепчет: «Это хорошо, это очень хорошо, что есть хоть один «черный» – в ВАКе меньше будет вопросов». Потом ей на шею бросаются родные, друзья, кто-то с усами, как у Дюма, хочет поцеловать ее в губы... Триумф.

Бывший работник института, а ныне представитель областных структур, Анна Ивановна Анненкова, на правах главного родственника, забыв, что в этом зале предстоит еще одна защита, приглашает всех в банкетный зал разделить общую радость. Анну Ивановну благожелательно успокаивают и просят подождать до окончания работы Совета.

Вторая защита тоже проходит успешно, и радость, которую предлагала разделить Анна Ивановна, не просто делится, а суммируется – и банкетный зал наполняется шумом, выкриками и смехом. Живчик удовлетворенно глядит на собравшихся в щелку двери.

Первый тост, как водится, всеохватен: за Анастасию Анненкову, ее успех, ее труд, ее вклад, за состоявшегося ученого, за блестящие перспективы. То же самое – за второго диссертанта. (Далее мы не будем упоминать о нем, за ненадобностью. Главное от него – половина расходов на банкет, и дальнейшее – молчание).

Второй тост – за научного руководителя Толоконникова, вложившего в Настю всю душу, а также за внимание и терпение членов Ученого совета.

Третий – за здоровье и успехи оппонентов.

Четвертый – за коллектив Черноярской ИПС и зоотехника совхоза «Принежский».

Пятый – за помощь и поддержку коллег, за дружный коллектив кафедры частной зоотехнии СХИ, опять-таки под руководством, и прочее, и прочее.

Шестой – за мать диссертанта Анну Ивановну Анненкову, за друзей и всех, кто прямо или косвенно способствовал успеху.

Седьмой – не менее грандиозный, чем первый: за науку ученых, за ученых науки, за их симбиоз, за свет учения и за биологию – царюцу наук.

Далее пили уже без разбору, поскольку тосты, не успев сформироваться, безнадежно отставали от пьющих. Практикой выверено: система тостов обычно выдерживает два-три тоста, редко – пять, а уж семь – возможны только в атмосфере парения духа. И если выпивку предваряли речи, закуска шла молча и сосредоточенно. Обрети закуска дар речи – хотя бы те же говяжьи языки – она выразила бы присутствующим громадное чувство благодарности за внимание к ней. Хорошая закуска – это всегда большое взаимное чувство и разделенная любовь.

– Григорий Федорович. Что-то я не вижу Анны Петровны, где она? – спросила после пятого тоста Настя.

– Она не ходит на банкеты! – отмахнулся тот. – Так вот, тогда на защите...

К восьми часам вечера для доставки участников банкета по домам подали автотранспорт: персонам, шедшим по первому, второму, третьему и четвертому тосту, предоставили четыре институтские «Волги», а участников пятого и шестого тостов демократически загрузили в институтский автобус «ЛИАЗ».

Возбужденная и счастливая Анна Ивановна Анненкова укатила с дочерью, а задумчивый Толоконников не спеша шагнул домой, где его выглядывала из-за занавески, уложившая внуков, строгая Наталья Васильевна.

И в зале заседаний, в банкетном зале, в «Сезаме», после того, как было все убрано и вымыто, как были закрыты окна и выключен свет, стало тихо и спокойно, лишь слышался легкий шелест ржи на картине Шишкина, в которой посапывала во сне спрятавшаяся от всех биология, царица наук, почетная участница седьмого тоста. Ей снились песни и пляски ее подданных, и хохмы, которые они тут отчебучивали без перерыва столько часов.

(Отрывок из романа «Сердце бройлера»)

Мир, который проявил Свифт

Честное слово, это так хорошо сказано, словно я сам это сказал!
Джонатан Свифт

1. Автор единственного романа

Автор единственного романа «Путешествия в некоторые удаленные страны мира в четырех частях: сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей» (1716—1726) (англ. *Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of several Ships*) Джонатан Свифт (1667—1745), настоятель (декан) дублинского собора Св. Патрика, в последние годы жизни был признан сумасшедшим.

Несмотря на это писатель весьма разумно распорядился своим состоянием. Он завещал его дому умалишенных, тем самым определив место и главному своему богатству – роману о Гулливере.

Человечество и по сей день безмерно благодарно декану за самую правдивую историю о нем. «Путешествия Гулливера» стали второй «Одиссеей», написанной не иначе как вещью Кассандрой мировой литературы. Это уникальное произведение, не претендующее ни на место своего рождения, ни на время, – роман для всех стран и на все времена.

Созданный осмеять деяния конкретных лиц английской и ирландской истории эпохи Просвещения, нравы и обычаи той поры, он стал зеркалом, в котором с каждым годом человечество все отчетливее видит свои уродливые черты.

О «Путешествиях Гулливера» специалистами написаны сотни томов. С момента появления книги на свет к каким только формам не относили его: от просто «нового» романа (novel) до нравственно-политической сатиры.

Из современных характеристик стоит выделить две: это одно из первых фантастических произведений в мировой литературе (сродни «Одиссее» Гомера и «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Франсуа Рабле) и один из первых романов-предупреждений (их называют еще антиутопиями).

Об этом иногда пишут с осторожностью, хотя и ставят «Гулливера» в один ряд с романами Федора Достоевского «Бесы», Евгения Замятина «Мы», Джорджа Оруэлла «1984» и т.д.

Специалистов легко понять: сами понятия «фантастический роман» и «роман-предупреждение» возникли только на рубеже XIX—XX вв. Что же «нафантазировал» и о чем «предупреждал» Свифт задолго до этого?

Но сначала немного о нем самом.

2. Джонатан Свифт (1667—1745)

Как-то Свифта подселили в гостинице (за неимением свободных мест) к фермеру. Фермер стал заливаться о своих успехах, а Свифт посетовал, что ему хвастать особо нечем, так как за время суда удалось вздернуть только шестерых. Оторопевший фермер поинтересовался, кто он такой.

«Да палач, – ответил Свифт. – Вот еду в Тайберн вздернуть с десяток джентльменов с большой дороги». Фермер тут же унес ноги из гостиницы. История вполне в духе писателя, склонного к одиночеству и всякого рода мистификациям.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.